
Амели
Нотомб
Психопомп | Невозможное возвращение
CORPUS
Никогда не поздно сказать “Я люблю тебя”.
Амели Нотомб

Психопомп. Невозможное возвращение

Амели Нотомб

Аннотация
Амели Нотомб. Психопомп. Невозможное возвращение
Психопомп
Невозможное возвращение

Аннотация

Короткие романы-бестселлеры бельгийки Амели Нотомб печатаются шестизначными тиражами и издаются в сорока странах, принося своей создательнице многочисленные премии, в числе которых Гран-при Французской академии и одна из главных литературных наград Европы – премия Стрега. В эту книгу вошли два ее автобиографических романа (2023, 2024).

“Психопомп” – эмоциональная авторская исповедь. Название связано с прозвищем древнегреческого бога Гермеса и означает “Проводник душ”. В сюжетной канве – детство и юность, сексуальное насилие, пережитое в 12 лет в Бангладеш, последовавшая за этим анорексия, парадоксальные игры судьбы, тайны ремесла, необычное писательское кредо и искусство разговаривать с умершими, которым сумела овладеть вовсе не склонная к мистицизму Амели Нотомб.

“Невозможное возвращение” – лирический и очень личный роман о поездке в Японию спустя тридцать лет после попытки посе-

литься там навсегда, описанной в ее знаменитых книгах “Страх и трепет” и “Токийская невеста”. Встреча со знакомыми улицами и древними японскими памятниками сопровождается волнующими воспоминаниями, пронизанными ностальгией и свойственным Нотомб неповторимым юмором.

Амели Нотомб
Психопомп. Невозможное возвращение

Published by arrangement with SAS Lester Literary Agency & Associates

© Éditions Albin Michel, Paris, 2023
© Éditions Albin Michel, Paris, 2024
© И. Кузнецова, “Психопомп”, перевод на русский язык, 2026
© И. Стаф, “Невозможное возвращение”, перевод на русский язык, 2026
© А. Бондаренко, художественное оформление, макет, 2026
© ООО “Издательство Аст”, 2026

* * *

Амели

Нотомб

Амели

Нотомб

Психопомп

Невозможное возвращение

Романы

Перевод с французского
Ирины Кузнецовой,
Ирины Стаф



издательство **АСТ**
Москва

Amélie

Nothomb

Psychopompe

L'Impossible retour

Психопомп

Как-то раз один торговец тканями увидел в небе пролетавшую стаю белых журавлей. Восхищенный их красотой, он подумал, что мечтал бы найти такую ткань, которая сравнилась бы в великолепии с их оперением.

Он вернулся в лавку, и вскоре его посетила необычная покупательница. Это была ослепительно красивая девушка. Кожа ее сияла белизной, длинные черные волосы были идеально гладкими, а губы подведены красным, что свидетельствовало о высоком положении их обладательницы. Благородное происхождение подтверждали и рукава кимоно, ниспадавшие до полу. Его редкая белизна служила знаком принадлежности к самым знатным семействам.

Девушка, похоже, колебалась, какую материю выбрать. Хозяин предложил ей помочь. Наконец она заговорила удивительно нежным голосом:

— Возьмите меня в жены.

Озадаченный торговец хотел что-нибудь о ней узнать. Кто она? Почему желает выйти за него? Она упрямо молчала.

Торговец решил, что глупо отказываться от столь лестного предложения, и, недолго думая, женился на девушке.

Бракосочетание благополучно состоялось. Они зажили мирно и беззаботно. Все складывалось как нельзя лучше.

Спустя какое-то время жена сказала:

— Я не принесла вам ни приданого, ни свадебного подарка. Если дадите мне мастерскую, где я могла бы работать, я сотку вам чудесную материю, но при условии, что даже вы не будете туда входить.

Муж согласился. Молодая жена стала проводить в мастерской по многу часов в день и через неделю, заметно ослабев от трудов, вынесла мужу ткань, каких он никогда в жизни не видел: это была какая-то необыкновенная материя, такая прекрасная и изысканная, что дух захватывало.

— Что это? Как вам удалось это сделать? — не удержался он от вопроса.

Она опустила глаза и ничего не ответила.

— Позволите ли вы мне продать ее? — спросил он.

— Она принадлежит вам, вы не обязаны со мной советоваться.

Покупатель быстро нашелся и заплатил басно-

словную цену.

Шли недели. В лавку один за другим потянулись клиенты, и все спрашивали ту дивную ткань, о которой многие уже прослышали.

Муж попросил жену снова соткать ему волшебную материю. Она уединилась в мастерской и через неделю, бледная и похудевшая, вынесла ему столь же изумительную ткань.

Торговец продал ее вдвое дороже, чем первую, а потом готов был локти себе кусать: запроси он в десять раз больше, ее все равно купили бы мгновенно. Он опять попросил жену соткать такую же.

Она не отказала ему ни разу, хотя силы ее убывали. Муж это замечал, но не мог унять жажду наживы. Люди теперь толпились в его лавке с утра до вечера, требуя уникальную ткань.

Жена вовсе перестала выходить из мастерской. Она работала днем и ночью, стараясь выдержать бешеный темп, которого требовал муж. Тот не мог не видеть, что она стремительно худеет. Она утратила красоту и молодость, кожа ее приобрела зеленоватый оттенок, волосы поблекли, взор потускнел. Муж забеспокоился, но остановиться был уже не способен. Чтобы как-то оправдаться в собственных глазах, он лишь слегка умерил

свои запросы.

Через несколько месяцев жена заболела. Однако не стала трудиться меньше. Торговец слышал, как она кашляет. Его мучила совесть. “Если я зайду в мастерскую, то смогу, наверное, ей помочь”, — подумал он. Он боялся признаться себе, что на самом деле хочет выведать секрет жены до ее неминуемой кончины.

Однажды, не устояв, он проник в тайную мастерскую, и представшее ему зрелище пригвоздило его к месту: роскошная белая журавлиха клювом выдергивала у себя пух и перья, которые катастрофически редели, и подкладывала их в ткацкий станок. Она так страдала, что издавала стоны, маскируя их под человеческий кашель.

Увидев своего соглядатая-мужа, она вскрикнула от испуга и в тот же миг вылетела в распахнутую дверь. Единственным утешением для отчаявшегося супруга стало то, что, несмотря на слабость, его жена-птица сумела долететь до гор.

Он взял в руки незаконченную ткань и даже обрадовался, обнаружив, что для продажи она не годится. Почему нужно было дойти до такой крайности, чтобы понять, что некоторые вещи цены не имеют?

Он отнес драгоценную ткань в токоному[1], проклиная себя за постыдную жадность.

Эту старинную японскую сказку рассказывала мне моя няня Нисио-сан, когда мне было четыре года. Ее жестокость повергала меня в сладостный ужас. Контраст между малодушием торговца и жертвенным благородством жены восхищал меня.

Я не задавалась вопросом, есть ли у этой истории мораль, но подсознательно понимала, что птица указала человеку на его низость.

Мне очень хотелось взглянуть на журавлей. Увы, это птица редкая даже в Японии. Напрасно я не заинтересовалась тогда обычными воробьями, не видя в них ничего примечательного.

В пять лет меня оторвали от Японии. Мой отец получил назначение в Пекин, что в 1972 году не сулило ничего радостного.

Помню свое первое пробуждение в народном Китае. Было лето, и сколько я ни прислушивалась, чего-то не хватало. Мне сначала трудно

---

[1] Примечания: 1

Токонома — ниша в стене традиционного японского дома, обычно предназначенная для размещения свитка с живописью, цветочной композиции или курильницы для благовоний. *(Здесь и далее — прим. перев.)*

было определить, чего именно. Не хватало птичьего пения.

Да, конечно, международное посольское гетто Саньлитунь находилось в городе, и там почти не было деревьев. Однако птицы, как известно, приспосабливаются и к этому — птицы, как известно, приспосабливаются ко всему.

Но Мао затеял тогда одну из своих грандиозных кампаний, объявив воробьев и им подобных мелких птиц виновниками голода и прочих бедствий. Каждый китаец должен был уничтожать всех птиц, каких может и не может. Кампания шла с огромным успехом, тем более впечатляющим, что человек, который предъявлял местному партийному уполномоченному больше птичьих тушек, получал награды и всяческие поощрения.

Скоро небо над Китаем превратилось в пустыню. Великому кормчему потребовалось немало времени, чтобы обнаружить гибельные последствия исчезновения птиц для экономики и экологии страны. Но как публично признать ошибку?

Единственные птицы, какие еще оставались в Пекине, это вороны. Их там было немного, но они царили. Поразительный ум вороны помогал ей разгадывать хитрости ловцов. Правда, пришлось

примириться с отсутствием воробьев, составлявших часть ее рациона.

Ворона — прекрасное существо. К несчастью, при красоте такой петь она не мастерица. Когда ухо ждет пения, а слышит карканье, это сильное разочарование.

Тем не менее я благословляла присутствие ворон, на них отдыхал глаз. Ворона оставалась здесь единственным учителем хороших манер. Слабое усвоение ее науки объяснялось, видимо, малочисленностью вороньего племени.

В ту пору в Китае всякое проявление благовоспитанности сурово каралось властями. Простая вежливость воспринималась чуть ли не как попытка контрреволюции. Все рыгали и харкали наперебой.

Я невыносимо скучала по Нисио-сан. Пробовала рассказывать себе сказку про белую журавлиху на ее языке. Я чувствовала, как японский улетучивается из моей памяти, и страдала от этого. Почему я не способна запомнить язык той, которую так люблю?

Вместе с японским исчезла утонченность. Выговор прислуги-китаянки был такой же жесткий и грубый, как воронье карканье. Деликатная мягкость речи Нисио-сан была сродни птичьему

пенью, этого я забыть не могла.

Я пыталась представить себе белую журавлиху в Пекине. Да она умчалась бы отсюда вихрем, перепуганная алчностью ненасытных охотников. Моя ностальгия по Японии от этого еще усилилась.

Спустя три года отец получил должность в ООН. Мы перебрались из Пекина в Нью-Йорк. Трудно вообразить более разительный контраст.

В Нью-Йорке несметное количество птиц. Голуби, чайки, воробьи. В Центральном парке мелких певчих птичек полным-полно. Вороны тоже есть, но не они одни. Вновь увидев их всех после долгой разлуки, я словно воскресла.

Каждый уикенд мы ездили в маленький лесной домик к северу от Нью-Йорка, в страшную глушь. Птичий народ там обитал в изобилии. Сойки, дрозды (знаменитые *mocking birds*[2]), кардиналы, овсянки — только в небо и смотришь.

Я снова обрела счастье просыпаться на заре и, лежа в постели, вслушиваться в пение птиц. Несказанное наслаждение — постепенно учиться распознавать их голоса, как инструменты в оркестре. Упиваться этой музыкой и позволять

---

[2] Примечания: 2
Пересмешники *(англ.).*

ей захлестнуть тебя целиком. Кто в состоянии противиться этому вторжению, пусть и невидимому? У меня не было иммунитета против такой красоты.

Моя мать не разрешала вставать раньше семи, поэтому на рассвете я жила звуками. Вариаций имелось столько, что это не могло надоесть: каждое утро было первым. Смена времен года была лишь одним из параметров этого разнообразия в числе множества других.

Довольно быстро я сделала чудесное открытие: каждая птица — индивидуальность. Сказать, что малиновка хорошо поет, такая же глупость, как сказать, что человек хорошо поет. Прислушиваясь, я определяла, какая именно малиновка действительно талантлива. И дело не только в конкретной птичке. Точно так же как великие оперные певцы не всегда бывают на пике формы по тысяче разных причин, одна и та же малиновка может петь менее эффектно в какой-то день или час.

Зимой мне дольше приходилось ждать концерта, который ограничивался редкими соло. Это были самые потрясающие выступления. Утреннее зимнее пение не призывало к любви, это была песнь выживания. Какой-нибудь дрозд,

дрожа от холода, творил более высокую красоту, чтобы отвлечься от физического страдания. Петь, чтобы победить мороз, — какой героизм!

Много позже, услышав знаменитую арию Гения холода[3], я подумала, не вдохновлялся ли Пёрселл зимним пением птиц. И когда я сама дрожу от нестерпимого холода, я пытаюсь петь, чтобы согреться. Надо ли добавлять, что результат оставляет желать лучшего.

Исполнение ледяной элегии, когда ее слушаешь, лежа в постели, заставляет острее наслаждаться уютным теплом одеял. Но все равно узнавать голос красного кардинала и не сметь подбежать к окну, чтобы полюбоваться певцом, было равносильно пытке. Мне приходилось мысленно рисовать себе алый глянец его оперенья. Борис Виан изобрел пианоктейль[4] — я придумала пианохром. Каждый звук порождал соответствующий цвет. Хроматический перевод до восхода солнца требовал особой изощренно-

---

[3] Примечания: 3

Гений холода — персонаж оперы “Король Артур” (1691) английского композитора Генри Пёрселла (1659–1695).

[4] Примечания: 4

Пианоктейль — изобретение Колена, героя романа французского писателя Бориса Виана “Пена дней” (1947): чудесное пианино, которое готовит коктейли, когда на нем играешь, причем каждой клавише соответствует определенный ингредиент.

сти. Я мысленно видела оттенки в темноте.

Мы спали вместе с сестрой, а у нее сон был чуткий: я не могла потихоньку отодвинуть занавеску. Родители спали в соседней комнате за тонкой перегородкой, малейший шум был там слышен. В запрете нарушать тишину имелся свой плюс: это развивало остроту слуха. В какие-то утра я слышала, как мне казалось, что одна из синиц охрипла.

Будильник у изголовья был объектом моего напряженного внимания. Ровно в семь я вставала и на цыпочках выходила из комнаты. Подбегала к окну гостиной, поднимала штору и обшаривала глазами ближайшие деревья. Зимой было темно, и я не могла ничего разглядеть. Прильнув носом к стеклу, я ждала рассвета. Отблески белизны позволяли что-то увидеть чуть раньше. Мало я знаю столь же волнующих зрелищ, как явление взору красного кардинала на фоне заснеженного сплетения ветвей. Куда до него японскому флагу! Смотреть, как один за другим возникают из тьмы предрассветные концертанты, стало моей манией.

Потом мне надлежало приготовить кофе — новая обязанность, к которой я относилась очень серьезно. У нас не было ни кофейника, ни кофе-

варки. Так что я пользовалась старыми добрыми бумажными фильтрами. Мать научила меня, что чем медленнее льешь воду, тем крепче получается кофе. И я лила воду неимоверно медленно. Ничто этому не препятствовало, времени хватало. Для меня это был своего рода спорт: взять половник и лить из него воду на молотый кофе капля за каплей. Я стремилась побить все рекорды медлительности.

А когда отец встанет, я принесу ему чашку своего божественного эликсира, он его попробует и воскликнет: “Узнаю твой кофе, только ты умеешь делать такой крепкий!” Его одобрительный тон равнялся в моих глазах ордену боевой славы, и я в предвкушении награды уже выпячивала грудь.

Обязанности кофейной весталки отвлекали меня от птиц. Когда я выходила на улицу играть, я радовалась им, но у меня там было множество других дел: проверить, не замерз ли ручей, или покататься по озеру на коньках. Детству свойственно самозабвенно предаваться какому-нибудь занятию, а потом потерять к нему интерес до завтра.

В воскресенье вечером мы возвращались в Нью-Йорк. Отец несколько раз в неделю водил нас вечерами на балет. Для меня все они имено-

вались “Лебединое озеро”, даже если назывались “Жизель” или “Коппелия”, — в каждом из них мне виделась очередная глава этой лебединой истории. У меня тогда зародилась безумная страсть к этим птичьим спектаклям, и я решила стать звездой балета. Меня записали в танцевальную студию, и хотя мои способности оказались ниже среднего, это не убавило во мне решимости добиться своего.

Из всех доисторических животных от динозавра меньше всего можно было ожидать, что он однажды взлетит. И тем не менее это удалось именно ему — разумеется, вследствие эволюции, столь же долгой, сколь и опасной. Если сумел он, то почему бы не попытаться и мне?

Понимая, что миллионами лет, в отличие от динозавра, я не располагаю, я решила поторопить события. Учительница танцев запрещала мне пуанты как начинающей, поэтому я встала в очередь у артистического подъезда в “Нью-Йорк Сити балет” и бросилась на шею своему кумиру Сьюзен Фаррелл, тогдашней звезде. Я спросила, нельзя ли купить ее балетные туфли, и она в порыве чувств подарила их с автографом восьмилетней малявке.

Оказалось, что у взрослой балерины такой же

размер ноги, как у меня, — возможно оттого, что ее ноги были так измучены. Я надела ее балетные туфли и теперь везде ходила на пуантах. В школе, в автобусе, дома я без них не появлялась.

Я расценивала это как убедительнейшую прелюдию к полету. Хождение на пуантах основательно меняло распределение веса тела. Когда никого рядом не было, я взмахивала руками, проверяя, удастся ли наконец оторваться от земли. Когда имелись свидетели, я пыталась сделать знаменитое гран жете Нижинского, которое он так блистательно исполнял в “Видении розы”. Зрителям действительно казалось, будто он летит.

Известно, что злейший враг святости — Ватикан. Так и учительница танцев, заметив мою хитрость, предупредила родителей, что это может повлиять на процесс роста и вызвать нарушение осанки. Пуанты были конфискованы, и я спустилась с небес на землю.

Благословенное свойство детства сработало и тут. Я не впала в отчаяние, а занялась другим, ни в коей мере не отказавшись от своей мечты.

В одиннадцать лет я очутилась в Бангладеш, куда моего отца назначили послом. Контраст Нью-Йорк — Дакка был сопоставим с контрастом

между Пекином и Нью-Йорком. В Бангладеш царила смерть — от голода, болезней и бесчисленных разновидностей нищеты. Уже в аэропорту кружили целые тучи серых ворон и стервятников.

Мы жили в подобии бункера с крохотным садиком. Там были деревья и, соответственно, птицы. Я решила с ними познакомиться.

Дакка, как и вся Бангладеш, изрезана реками, будь то Ганг или его притоки. Так что помимо птиц, питавшихся падалью, имелись и птицы речные вроде зимородков, которые прекрасно чувствовали себя в городе. Это было огромное удовольствие — видеть, как вспыхивают их яркие краски в мрачных зонах бедствия.

В саду я обнаружила жаворонка с рыжей головкой, бенгальскую трясогузку и индийскую горную ласточку. Эти птички ничем не отличались от своих западных собратьев, за искючением того, что обходились без миграций. Зачем покидать страну, где температура зимой никогда не опускается ниже двадцати градусов.

Я подхожу к эпизоду, самому загадочному в моей жизни. Как и у большинства людей, у меня бывали моменты, скажем так, просветления, или пробуждения. Не *сатори,* конечно, а *кэнсё* — про-

буждение, пусть и не полное, но которое делит время на “до” и “после”. Подобные моменты человек по определению должен помнить, особенно я, никогда не забывающая такого рода откровения.

Однако в моей памяти от того пробуждения не осталось ни следа. Возможно, потому, что все произошло невероятно буднично: прильнув лбом к стеклу, я наблюдала за птицами в саду. Я сейчас что-то домысливаю, поскольку сам этот миг от меня ускользнул. Тем не менее было “до” и было “после”: мне открылось, что птица — ключ к моей жизни.

Я и прежде обожала пернатых. Отныне это перешло на новый уровень: птица станет моей тайной. Объяснения нет и не было.

Магия сработала мгновенно. Птица поселилась во мне навсегда. Словно я внезапно обрела латеральное зрение. Я ощущала это как настоящую революцию: видеть мир по бокам было чем-то настолько новым, что иначе не скажешь.

И как же не сообщить близким о таком необыкновенном событии? Как его назвать? Я искала слова, но они никуда не годились. Я-то знала, что перешла в другое измерение.

За столом я объявила:

— Я открыла для себя птиц.

Никто не отреагировал на такую чепуху, кроме отца, который проявил интерес:

— Почему?

Я забуксовала.

— Потому что птица — символ свободы?

— Ну да, — ответила я.

Отец с серьезным видом кивнул.

Я знала, что это совсем не то, что я чувствую. Да, птица считается символом свободы, но это ошибка. Птица далеко не так свободна, как кажется. А главное, не в этом причина моей метаморфозы. Причина оставалась мне неизвестной.

Свободы я, разумеется, желала всей душой. Однако интуитивно понимала, что это нечто другое. Птица в полете — мощный образ свободы, но эта свобода достигается ценой чудовищных усилий.

Марта Аргерих, играющая Шопена, — тоже мощный образ свободы. И ее счастливое лицо это подтверждает. Стоит ли напоминать о годах тяжкого труда, которые она потратила, чтобы достичь такого уровня?

Каждый год, обучая птенцов летать, родители теряют много своих детенышей. Полет — первейшая цель, ее добиваются, не щадя жизни. А добившись, приобретенное умение надо поддерживать. Ни дня без полетов. Птичья му-

скулатура требует непрестанных тренировок, и тут не допускаются никакие послабления.

Полет предполагает, кроме того, огромные запасы энергии. Выражение “есть как птичка” — верх нелепости. Птица должна съедать в день втрое больше, чем она весит, если хочет летать как следует. Ей приходится с утра до вечера отыскивать колоссальное количество пищи. Представьте себе, что каждый из нас должен ежедневно добывать пропитание, в три раза превышающее наш вес: мы бы тогда всю жизнь проводили в супермаркете. Будь такой наша судьба, вряд ли мы считали бы себя свободными.

Но отцовский ответ, по крайней мере, предоставил мне благовидный предлог. Моя страсть к птицам была интерпретирована как стремление к свободе. Я слышала, как отец говорил матери, что, вероятно, живя в странах с диктаторскими режимами вроде КНР, я рано осознала, как важна свобода, которой лишено столько людей.

Не хочу ни в коем случае преуменьшать кошмар, творившийся в маоистском Китае. Но правда в том, что мое увлечение птицами никак с этим не было связано. Гравюру с птицами в словаре “Ларусс”, давным-давно изученную мной вдоль и поперек, я рассматривала по десять раз на дню.

Ничего нового я там почерпнуть не могла, но мне необходимо было лишний раз взглянуть на некоторые виды пернатых.

На Рождество я получила “Атлас птиц Европы” издательства “Бордас”. Мой брат хихикал:

— Эти птицы Европы нужны тебе как рыбе зонтик! Они же здесь не водятся.

Он ошибался. Я была в восторге от подарка. Если бы мне подарили справочник птиц Антарктиды, я радовалась бы не меньше. Я не нуждалась в сведениях о птицах, которых видела вокруг, хотя мне было бы вдвойне приятно убедиться, что мои собственные наблюдения подтверждаются именитыми учеными предшественниками.

Мне нужно было узнать как можно больше птиц. Просто узнать, что они есть. Это было гораздо важнее, чем отнести их к тому или иному отряду или виду, хотя и это занятие не лишено прелести.

Установить факт их существования было для меня чем-то из области метафизики. Нам дано изо дня в день соприкасаться с живым миром, настолько потрясающим, что не уделять ему все свое внимание совершенно немыслимо. Зачем грезить об ангелах и химерах, когда есть реальное создание, превосходящее наше понимание.

Самый великолепный серафим не так прекрасен, как неприметная лесная завирушка.

Все эти соображения пишу я сегодняшняя, тогда я не способна была бы их сформулировать. Хотя в одиннадцать лет, подобно большинству детей, я чувствовала себя в языке как рыба в воде. Моя новая одержимость стала для меня первым соприкосновением с невербальной сферой. Я не могла ни одним словом описать мир птиц. Не могла ничего сказать о нем даже себе самой. До сих пор мои интересы всегда были включены в то, что я называла историей, — в непрерывный рассказ, который я тайно вела сама для себя.

Вероятно, поэтому миг моего пробуждения от меня ускользнул. Привыкнув рассказывать себе все события своей жизни, я вдруг оказалась в ситуации, когда слова и близко не могли передать то, что я видела и ощущала. Открытие птиц перевернуло меня.

Это было так сильно, что мне по-прежнему трудно выразить то свое смятение с помощью слов. Миллионы лет назад у динозавра возникло неукротимое желание летать. Этот ящер запустил сумасшедший проект, чтобы воплотить свою несбыточную мечту. Каковы бы ни были его умственные способности, он не мог не понимать,

что если такое вообще когда-нибудь случится, то так нескоро, что насладиться этим не сможет ни он сам, ни его дети, ни даже правнуки.

В состоянии ли мы оценить всю беззаветную веру, преданность идеалу, долготерпение и пыл, необходимые, чтобы пуститься в столь безумную авантюру? Кажется, в тот момент мне и приоткрылось истинное величие такого решения.

С появления динозавров до первого динозавра крылатого под названием археоптерикс прошло восемьдесят миллионов лет. Срок для нас сокрушительный. Осмыслить такое феноменальное терпение — все равно что постичь тайну движущей силы вселенной. Единственное, что позволяет сделать ставку на подобную бесконечность, — это желание.

Люди склонны ставить желание в зависимость от способности. Интуитивно я в способности верю мало. Я не отрицаю, что они существуют, но сомневаюсь в их продуктивности. Я встречала одаренных людей: они склонны нервничать из-за того, что признание не приходит к ним достаточно быстро. Дарование редко располагает к терпению. Терпение может созреть только в судьбе по-настоящему высокой.

Желание, которое не ослабевает восемьдесят

миллионов лет и потом не угасает, довольствуясь первым достижением — археоптерикс, заметьте, был всего лишь этапом, — вот что внушает благоговение.

Сегодня, оглядываясь назад, я рассматриваю свой поворот к миру птиц в категориях желания. И хотя я этого не осознавала, дальнейшее показало, что так оно и было. Сформулируем в общих чертах то, что стало для меня тогда озарением: “Желай так же сильно, как птицы”.

До этого у меня, как у всякого ребенка, были разные интересы. То я мечтала иметь ткацкий станок, то хотела играть на гитаре. Я вовсе не сужу свысока свои детские порывы, естественные для активного раннего возраста.

Когда мной овладела одержимость птицами, эти временные причуды исчезли сами собой. Они оставили во мне огромную пустоту, потому что я была неспособна осмылить глубинную суть того, что со мной произошло. Проще говоря, до этого момента я была яйцом. Я всегда любила яйца. Я их люблю и сейчас. Кстати, двадцать пять лет назад я вздумала питаться одними яйцами. Результат оказался катастрофическим. Однако это не выработало у меня отвращение к обожаемому продукту.

В одиннадцать лет я из яйца вылупилась. Вылупилась по-настоящему: это было очень трудно и страшно. Вообразите: вы всю жизнь были яйцом, это так приятно, вы сидите в тепле, в своей уютной скорлупе, сплошной комфорт и покой, и вдруг она трескается и раскалывается. Вы оказываетесь под открытым небом, причем даже без перьев, которые могли бы вас прикрыть.

Пренеприятное ощущение. Вы ждете каких-нибудь указаний.

Проблема: никто вам их не дает. Это не упрек моим близким. Кто мог догадаться, что со мной творится? Я не выглядела встревоженной.

Интуиция подсказала правильный путь: не зная, как быть и что делать в таком положении, я решила изучить то, что к этому положению привело.

Читать учебники по орнитологии оказалось больше чем развлечением. Куда лучше! Это был источник безграничного удивления. У меня буквально разбегались глаза. Ошеломляло многообразие птиц — от ремеза обыкновенного до ястреба-бородача, включая полярную крачку и поползня. Названия отражали трудность классификации. Один из хищников на основании его охоты на голубей был без затей наречен голубят-

ником. Разве не прелесть?

Меня бы тоже могли так окрестить: птичница. Но я не хищничала, я восхищалась. Искала пищу для своего увлечения в учебниках, в энциклопедиях и в жизни. Выходы из дому стали не так невыносимы. Вместо того чтобы созерцать на каждом шагу умирающих, я смотрела на птиц.

В саду жили ткачики. Я с восторгом разглядывала их гнезда. Трудно себе представить более надежное жилище. Вот уж куда не проникнет ни змея, ни ворона. Чудо, с какой ловкостью они сплетали клювами соломинки или стебельки тростника, чтобы соткать свой дом-мешок, вход в который, длинный и узкий, рассчитан исключительно на их изящество.

Где Бенгалия, там и бенгальские птички. Случилось неизбежное: я просто не могла не получить в подарок клетку с четырьмя этими крохотными созданиями. Я выпустила их при первой же возможности. Меня отругали.

— Это страшно невежливо по отношению к человеку, который их подарил.

— Мы ему не скажем.

— Не факт, что эти птички выживут в здешних условиях.

— Бенгальские птички не выживут в Бенгалии?

Ушам своим не верю.

Недоразумение следовало за недоразумением. Приятельница матери подарила мне канарейку Смета[5], это был самец, его поселили в клетку, оставшуюся от бенгальских птичек.

— Эта птичка не местная, — сказал отец, — не выпускай ее.

Я назвала бедолагу Сирокко, остро страдая оттого, что приходится держать его в неволе. В доме была прачечная, куда редко кто-нибудь заходил. Я забиралась туда с Сирокко и выпускала его там полетать. Пользуясь случаем, я с ним разговаривала:

— Прости меня за то, что ты в тюрьме. Ты, наверно, на меня злишься. Я же из племени мучителей. Но я не пытаюсь тебя приручить, ведь это все равно что вынуждать тебя предать своих.

Сидя на старой шине, я часами наблюдала за ним. Его безостановочный вороватый полет, казалось, даже не доставлял ему удовольствия. Едва сев, он опять взлетал. Спрашивается, зачем садился. Этот полет, сопровождаемый непрерывным “фррррт”, явно не стоил ему ни малейших

---

[5] Примечания: 5

Канарейка Смета — вид канареек, выведенный Г. Сметом путем скрещивания канарского канареечного вьюрка с венесуэльским огненным чижом.

усилий. Он так быстро махал крыльями, что на лету их невозможно было разглядеть. Когда он садился, то не прибегал к каким-то особым приемам приземления, равно как и взлет не требовал от него специальных маневров.

К моей досаде, он совсем не обращал на меня внимания. “Откуда ты знаешь? У него боковое зрение, он может следить за тобой незаметно”, — говорила я себе. Но я так не думала. Я чувствовала его полное равнодушие к своей персоне. Если я делала вид, что приближаюсь, он не пугался. Он меня игнорировал. И надо признать, вполне заслуженно. Его оранжевый цвет свидетельствовал о том, что над ним поработал человек. Спасибо еще, если кенарь меня не ненавидел.

Одна из героинь Жорж Санд рассказывала, что птицы ее обожают. Жаворонки влетали к ней в комнату и садились на плечи. Стоило ей вытянуть руку, как ее пальцы превращались в насест для синиц. Я с горечью читала и перечитывала эти строки. Почему же я не являюсь предметом такого обожания?

Мне в голову приходили разные объяснения. Девушка эта не держала птиц в клетке. Слетавшиеся к ней птицы все были местные. К тому же дело происходило давно: полтора века назад

человек еще не запятнал себя столь тяжкими преступлениями в отношении животных. Эта сравнительная невинность еще не превратила его во врага номер один всего живого.

Другое возможное объяснение: Жорж Санд все это выдумала. Художественное преувеличение. Женщины, которым на руку садятся птицы, существуют только в диснеевских фильмах.

Меньше всего мне нравилась версия, что птицы не любят именно меня. Находят во мне что-то ужасное. Так ли это? И вообще, если поразмыслить, с чего бы мне считать себя какой-то особенной.

И я возвращалась к тому, с чего начала: Сирокко не обращал на меня ни малейшего внимания.

Странная судьба у этого вида. Кто-то на Канарских островах обратил внимание на вьюрка, который по глупости распелся в присутствии людей. За свое прекрасное пение он очутился за решеткой. Таким образом, выражение чистейшей радости привело к гибридизации.

Было бы более чем естественно, если бы в неволе он перестал петь. Но этого не произошло. На примере Сирокко я наблюдала интересный феномен: летая по прачечной, он не пел. Зато, вернувшись в клетку, не скупился на роскошные

трели.

Еще надо было его туда водворить. А для этого поймать, и тут разыгрывались удручающие сцены. Мне нелегко было преследовать того, кого я мечтала бы оставить на свободе. Двусмысленность моей роли от меня не ускользала, и я проклинала свое детское подчиненное положение. Когда наконец я держала в руках крохотное дрожащее тельце, я молча страдала.

В клетке он продолжал чередование взлет — остановка, прерываясь только на еду, питье и пение. Когда он пел, то забывал обо всем. Петь он предпочитал, когда я на него не смотрю. Рулады следовали одна за другой, почти не меняясь, нюансы возникали в особом акцентировании какой-нибудь высокой ноты или трели.

Мне захотелось сравнить пение Сирокко с пением какой-нибудь другой канарейки. От матери я узнала, что такой же кенарь есть у дочери египетского посла. Та согласилась позвать меня в гости.

Далия оказалась моей ровесницей, и у нее был кенарь, который не пел.

— Годзилла меня обожает, причем меня одну.

Она отворила клетку, и Годзилла тотчас сел ей на плечо.

— Он не поет. Почему? — спросила я.

— Откуда я знаю?

Годзилла был естественного желтого цвета с коричневато-желтыми крыльями. Может, поэтому он не такой недотрога? Когда я протянула к нему руку, он в испуге шарахнулся.

— Прости, — сказала Далия. — Он подпускает к себе только меня.

Она начинала меня бесить. И вдобавок еще пристала с вопросом, пью ли я спиртное. Я не утаила от нее свои привычки — вино за обедом, виски на аперитив. Она закричала:

— Умоляю тебя, не пей! Если б ты знала, как ты себе вредишь!

— Тебе-то что!

— Наверно, поэтому твоя канарейка тебя избегает.

Вступать в дискуссию не входило в мои намерения.

Далия посадила Годзиллу в клетку. Он запел.

— Он поет впервые в жизни! — воскликнула она.

Уверенная, что это моя заслуга, я приосанилась:

— Потому что он рад меня видеть.

— Поют необязательно от радости, — возразила

Далия.

Съязвив, она затронула любопытную проблему: почему нам кажется, что птицы поют от радости? Можно петь от отчаяния, даже от боли.

— Представляешь, — продолжала она, — он никогда раньше не пел и вдруг заливается как оперная дива.

— Вообще-то, вьюрки от рождения не очень певучие. Он, судя по всему, слышал, как поет еще какой-нибудь кенарь или другая птица до того, как попал к тебе, — сказала я с видом знатока.

— Они могут учиться у других?

— Да. Но Годзилла, скорее всего, учился у другого кенаря: его пение похоже на пение Сирокко.

— А почему он дожидался тебя, чтобы запеть?

— Я думаю, чтобы легче было вытерпеть мое присутствие, — предположила я.

Далия удовлетворилась этой версией. Мало того, она решила ее развить:

— Пение помогает пережить самое страшное.

Я сочла за лучшее проигнорировать эту египетскую провокацию и придерживаться дипломатии:

— А что, если устроить нашим птичкам встречу?

Мы назначили день. Я пришла и принесла Си-

рокко в клетке. Мы выпустили обоих кенарей в комнате Далии. Поначалу они долго игнорировали друг друга.

— Жалко, что оба самцы, — сказала Далия.

— Они наблюдают друг за другом внимательнее, чем ты думаешь. Годзилла на своей территории, это преимущество.

Этап взаимного недоверия миновал, и Сирокко запел. Никогда я не слышала, чтобы он пел так вдохновенно. Я загордилась, как будто сама его научила.

Годзилла слушал-слушал, склонив головку, потом последовал его примеру. Он старался изо всех сил.

— Твой поет лучше, — сказала Далия.

— Опыт, — заметила я.

— Они разговаривают?

— Ну да. Один говорит другому: “Я нахожусь у себя”.

— Но Сирокко не у себя.

— Еще и поэтому он поет так хорошо. Хочет доказать то, что вовсе не очевидно.

— Значит, они спорят.

— Не только. Игра позволяет им познакомиться. И Годзилла пользуется случаем взять урок пения.

— Вот ты все знаешь, объясни тогда, почему Годзилла меня любит, а Сирокко тебя нет?

— Разве он тебя любит? Он тебя не боится, это единственный вывод, какой можно сделать из его поведения.

— Тогда почему Сирокко боится тебя?

— Боится и правильно делает. Я сама себя боюсь.

Я сказала правду. С тех пор как мной овладела страсть к птицам, я постоянно обнаруживала в себе что-то странное. Чтение книг по орнитологии делало меня еще более загадочной в собственных глазах.

— Но ты права, — прибавила я. — Меня раздражает, что ученые берутся толковать поведение птиц. Как будто птицы могут подтвердить их идеи!

— К тому же на человеческом языке.

— Вот именно.

Годзилла и Сирокко продолжали по очереди петь. Они соревновались учтиво, с задумчивым видом выслушивали выступление соперника, затем пытались его перещеголять, дольше тянуть какую-нибудь ноту. Все пассажи имели одинаковую структуру, различия выражались лишь в громкости и виртуозности трелей. Мне пришло в

голову подсчитать: Сирокко всякий раз исполнял на один пассаж больше.

— Думаешь, они считают? — спросила Далия.

— Да. Сирокко выдает одиннадцать повторов, Годзилла — максимум десять. У них математический склад ума.

Вскоре отец сказал мне, что на каком-то коктейле встретил египетского посла. Тот не без тревоги сообщил ему, что стоило мне появиться, как кенарь его дочери вдруг запел. “Мы уже от него оглохли”, — пожаловался египтянин, явно заподозривший тут какое-то колдовство.

— Выходит, ты судила их пение как музыкальный конкурс, подсчитывая коленца, — прибавил отец. — И твоя птичка вышла победительницей.

— Конечно, — невозмутимо отозвалась я.

Сияя от гордости, отец затянул “Брабансонну”[6].

Бангладеш, молодая демократия, считала для себя делом чести иметь собственную авиакомпанию. Слоган “Биман Бангладеш Эйрлайнз” был *Majestic all the way*[7]. Билборды, красовавшие-

---

[6] Примечания: 6

“Брабансонна” — историческое название бельгийского гимна.

[7] Примечания: 7

Букв: “Всегда исполненный величия” *(англ.).*

ся среди свалок и бидонвилей, призывали: *Fly Biman!*[8] Мы повиновались призыву. Раз в месяц, а то и чаще мы собирались в полет и приезжали в аэропорт Дакки, похожий на провинциальную казарму с паркингом. Армада “фоккеров”, списанных развитыми странами, предлагала доставить нас в Читтагонг, Маймансингх, Силхет или Кокс-Базар.

Оглядываясь назад, я понимаю всю притягательность этих названий для моего отца. Но мы с сестрой проклинали его любопытство, которое нисколько не разделяли: из-за него нас без конца таскали в какие-то невообразимые места, куда к тому же приходилось добираться самолетом — других способов не было.

“Фоккеры” Бимана регулярно взрывались в воздухе вместе с пассажирами. Пресса писала об этом мало, но не из-за отсутствия свободы слова, а из-за отсутствия интереса. В Бангладеш смерть была рутиной. Отдать концы в авиакатастрофе или от обычных причин — какая разница!

В самолете мы с сестрой делились соображениями о том, почему дорожим своим земным существованием. Итог был всегда один и тот же:

---

[8] Примечания: 8
“Летайте Биманом!” *(англ.)*

“Больше всего мне нравится быть твоей сестрой”. Мы мечтали в случае крушения погибнуть вместе.

Стюардессы умильно мне улыбались и угощали конфетами от авиакомпании, в которых мы находили засохших тараканов. Нередко самолет попадал в муссонную бурю. Конвульсии молний так сотрясали самолет, что отцу приходилось нам лгать. Помню, как-то раз я спросила, страшно ли ему так же, как мне. Весь зеленый, он ответил двойной ложью:

— Нет. Есть громоотвод.

Приятной стороной этих путешествий было то, что после приземления всю семью охватывала безудержная радость: мы живы! Увы, уже прямо у трапа на отца набрасывались местные официальные лица. Они поверить не могли, что посол пожелал нанести им визит, и нас встречали целые делегации с самыми немыслимыми оркестрами. Похвальное намерение, но удручающий результат. Мои родители с готовностью участвовали во всем этом цирке. Нам с Жюльеттой нелегко было изображать любезность. Ей было четырнадцать, мне — одиннадцать, не фыркать требовало больших усилий.

Мы посещали мэрии и дворцы губернаторов

в самых отдаленных провинциях. Здания были недавней постройки, но пропитанный влагой воздух быстро превращал их в руины. Пока сановники рассказывали отцу, в чем состоит решающая роль их области в истории страны, я отправлялась в туалет, где обнаруживала сквот лягушек.

В редких случаях, когда нам удавалось оторваться от сопровождения, мы наблюдали во всех видах нищету потрясающего народа. Смерть орудовала не покладая рук, никому не давая отсрочки. Люди так остро чувствовали ее близость, что жили жадно, с горящими глазами. По любому поводу устраивались импровизированные концерты подручными средствами. А уж если у кого-то оказывался сарод[9], то тем более.

Ночью небо захватывали летучие мыши. Я тщетно пыталась понять, почему на них не распространяется моя любовь к птицам. Тот факт, что они млекопитающие, мало что объяснял.

Многим городам, где мы побывали, я предпочитала Силхет. Его окружали джунгли, интересовавшие меня куда больше, чем рисовые поля. Там я впервые увидела существо, которое

---

[9] Примечания: 9

Сарод — индийский струнно-щипковый инструмент.

поначалу приняла за одну из летучих мышей, царивших в ночном небе, но оказалось, что оно носит умопомрачительное название: большой ушастый козодой.

Этот ушастый козодой отчетливо смахивал на дракона. Он издавал звуки, напоминавшие одобрительный свист. Вблизи вид его повергал в шок: два острых уха и оскал гаргульи, выражавший страшнейший гнев. Самец ничем не отличался от самки. Ушастый козодой молча летал кругами в поисках насекомых, которых собирал в зоб. Его оперенье сливалось с землей, где он обитал днем. С наступлением темноты он взмывал в небо. Ночью предпочитал сидеть на высоких ветвях.

Я немедленно влюбилась в него. По неясным причинам эта любовь привела к самоотождествлению с ним. За это я получила: “Но ты же все-таки не такая уродина”, — что сразу высветило всю пропасть непонимания. Я-то считала его чудом природы! Этимология его французского названия говорила сама за себя: тот, кто глотает ветер. Такая аэрофагия озадачивала, но мне слышалось другое: тот, кому благоприятствует ветер[10]. Его полет это подтверждал. Надо было

[10] Примечания: 10

Сочетания звуков во французском названии этой птицы *(engoulevent oreillard)* позволяют услышать такой вариант значения.

видеть, как он, накоротке с Эолом, проскальзывает между воздушными потоками и выбирает тот, что мгновенно возносит его к небу. А потом забавы ради срывается с этой головокружительной высоты и снова взмывает вверх чуть ли не от самой земли.

“Летать как птица”, поется в песне. Да, но какая именно птица? Что общего между полетом утки кряквы и ушастого козодоя? Для нас, земляных червей, летать, как утка, уже было бы грандиозным достижением. Ушастый козодой, похоже, стеснялся выглядеть увальнем, особенно когда взлетал: как будто толстый дядюшка собрался наконец встать с кресла и сходить за банкой пива.

Истинная натура козодоя — полет. Подозреваю, что он решил стать насекомоядным исключительно для того, чтобы кормиться в воздухе. Я заметила: захотев пить, он ждет дождя — так ему удается утолять жажду на лету. Тут, по моему наблюдению, и кроется причина его злобы: когда силы иссякают и ему приходится сесть, он впадает в ярость. Я наблюдала за его настроением в бинокль, когда он летал. И если вообще можно уследить за настроением существа, которое все время в движении, то в полете он не выглядел сердитым.

Постоянное напряжение внимания и зрения изменило мою жизнь. Отсутствие способности к фотографии помешало мне стать фотоохотницей. Я запоминала птиц зрительно, их образы впечатывались в мою память так ярко, что это перестроило сам принцип ее работы.

Ушастый козодой преобразил мое сознание. Научил меня все пускать в ход для достижения цели. Презирать силу тяжести, раз ею так легко пренебречь, резвясь в воздухе. Скорость — не самоцель, она того не стоит, а непременное условие выживания: она позволяет ускользнуть от хищника по-настоящему красиво — с удовольствием.

Возможно ли описать наслаждение ушастого козодоя! Он бросается в ветер почти сладострастно, то противясь ему, то покоряясь, то удивляя его, то ему отдаваясь, — он гениальный любовник воздушного потока.

В Силхете джунгли чередуются с чайными плантациями. Я никогда их раньше не видела. Ничто так не напоминает образ рая. Ласковый ветерок, волнообразный рельеф, нежная влажность, исходящая от земли, — и все это заключено в ларец доисторического леса: я хотела бы здесь жить всегда, как ушастый козодой. Если уж вить гнездо прямо на земле, то что может быть пре-

краснее, чем поселиться под чайными кустами!

Мое самоотождествление с ушастым козодоем получило дополнительный аргумент. Чай, любимейший мой напиток, еще больше сближал меня с ним. Оставалось только изобрести способ летать.

Мне часто снилось, что я летаю. Сон всегда был примерно один и тот же: я открывала систему манипуляций, сулившую взлет. Всякий раз она сводилась к последовательности каких-то незамысловатых движений. Сознавая, что это сон, я осваивала технику полета, твердя себе: “Ты вспомнишь все, когда проснешься, это же так просто”, — после чего взлетала и в экстазе парила над великолепными пейзажами.

Проснувшись, я улыбалась: мое тело помнило нужные приемы. Я вставала, пыталась их повторить — и оставалась стоять на полу. Однако вера моя не ослабевала: освоенная во сне наука не могла лгать. Значит, я что-то делаю неправильно. Ощущение, что я летала и что я на это способна, слишком глубоко внедрилось в меня.

Возвращаясь в Дакку, мы снова садились в самолет компании “Биман Бангладеш Эйрлайнз”. Ее логотипом был аист. Я не отрицаю привлекательность аистов, но я ни разу их не встречала в

этой стране. Это не значит, что их там нет. Но я все равно не понимала, почему бы им не взять для своей эмблемы ушастого козодоя. Лихой полет их “фоккеров” больше напоминал рискованные трюки козодоя, чем плавное парение аистов.

В сущности, удивляться тут нечему. Символика никогда не обременяет себя правдоподобием. Символ Бельгии — лев. Комментарии излишни.

Несмотря на все прелести Силхета, наша семья довольно быстро предпочла прочим городам Кокс-Базар. Это был единственный морской курорт в Бангладеш. Если вдуматься, то само по себе поразительно, что в беднейшей стране мира вообще имелся курорт. Но не надо забывать, что Бенгалия была невероятно богата до британской колонизации, которая позаботилась покончить с этим процветанием.

Один из тех англичан, некто Кокс, создал (или просто переименовал, поди знай) курортный поселок на берегу Бенгальского залива. К 1978 году от пышной колонизаторской роскоши не осталось ровно ничего, за исключением обшарпанных отелей, служивших в основном больницами. Наименее ветхий из них принимал любителей морских купаний, каковыми мы и являлись.

Мы обнаружили одну-единственную семью,

кроме нас, верную “Кокс-Базар-Паласу”. Эти британцы, несмотря на молодость, вызывающе демонстрировали чисто английскую ностальгию. Они практически не покидали гостиницу, ели всегда за соседним с нами столом в помещении, именовавшемся здесь “рестораном”, и бросали на нас пренебрежительные взгляды, а то и восклицали громко и с напором:

– *They are as dirty as these Bengalis*[11].

К ужину глава семьи выходил в смокинге, его жена в длинном платье. Наш дресс-код вызывал у них отвращение. Мы ни разу не замечали их на пляже.

Плавать в Бенгальском заливе оказалось чистым восторгом. Волны были гигантские и катились одна за одной с такой быстротой, какой я не видела больше нигде. Оставалось или отдаться их воле, или нырять. Чтобы уплыть подальше от берега, неизбежно приходилось нырять.

Говорили, что на большой глубине водятся акулы. Никто их не видел, но к наслаждению от купания это добавляло вкус русской рулетки.

Когда я не плавала, я играла на пляже с местными детьми. Дети собирали моллюсков и

---

[11] Примечания: 11

Они такие же грязные, как эти бенгальцы *(англ.)*.

показывали мне свой улов. Они прокалывали перламутровые ракушки и делали из них бусы. Когда я жонглировала тремя мячиками, просили научить их этому искусству.

В Кокс-Базаре, как и везде, свирепствовала нищета. Но море все-таки смягчало работу смерти. Женщины в сари входили в воду с сачками, и им всегда удавалось выловить что-нибудь съедобное.

Я была настоящим бакланом этого побережья — ныряла при малейшей возможности. Плавать — это летать под водой. Я не приносила никакого улова. Мне ничего не было нужно, кроме ощущения, что вместо рук у меня крылья. Я высовывала голову из воды, только чтобы глотнуть воздуха.

А еще там были чайки. Мне нравились их повадки. Самка прижималась головкой к шее самца, что означало: “Хочу есть”. Месье немедленно бросался на поиски съестного для мадам.

В Бангладеш голод — обычное дело. То, что мы не голодали, делало нас не такими, как все. Я отдавала детям на пляже свой полдник, и они пожирали его, глядя на меня с испугом: “Она не голодная”.

Они никогда не купались. Я звала их с собой в

воду, но они отказывались. Хотя никакого запрета на купание не существовало. У нас не было общего языка, чтобы об этом поговорить.

К нам в гости приехала бабушка, мамина мать. Восславим эту авантюристку — никто больше не желал навещать нас в Бангладеш. Чемпионка мира по злости, она жаждала воочию убедиться в нищете этой страны. Бангладеш ее не разочаровала.

Мы повезли ее в Кокс-Базар. Появление натуральной ведьмы необычайно развеселило моих пляжных друзей. Они прозвали ее Бури Бури, что означало “Старая старуха”. Когда она входила в море, чтобы энергично поплавать, дети визжали от сладкого ужаса. Они явно задавались вопросом, не надеемся ли мы, что она утонет.

Чистым удовольствием было наблюдать, как эта старая перечница вылезает из воды и возвращается к семье, а за ней с криками “Бури Бури” бегут дети, приветствуя ее восторженными криками за то, что она сумела пережить купание.

Она вернулась в Бельгию страшно довольная, что видела своими глазами такую нищету. Когда мы снова приехали в Кокс-Базар без нее, пляжный народ разрыдался: Бури Бури, наверно, умерла, иначе она бы приехала с нами.

Иностранное сообщество смотрело на нас как на экстремалов. Другие дипломаты никогда не покидали столицу: они сидели, забаррикадировавшись в своих служебных квартирах, спасаясь от зрелища голода. Выходили из дому только затем, чтобы отправиться в клуб “Интерконтиненталь”, центр светской жизни Дакки.

Отец говорил, что никогда еще не работал в такой интересной стране. Мать с ним соглашалась. Мы с сестрой, к своему стыду, не испытывали ни малейшего восхищения.

В часе езды от столицы бельгийские монахини создали лепрозорий под названием “Джалчатра”. Наши родители с энтузиазмом отнеслись к этому проекту. Мы проводили там три уикенда в месяц.

— Можно мне взять с собой Сирокко?

— Канарейкам нечего делать в лепрозории, — ответил отец.

Это был старый полуразрушенный монастырь в дебрях джунглей. Ни водопровода, ни электричества. Прокаженные прибывали туда со всех концов страны.

Едва приехав первый раз, мы с Жюльеттой поняли, что попали в преддверие ада. Пока родители вносили свою лепту в благое дело, выгружая

лекарства и медицинское оборудование, мы забрели в джунгли. Там нас поджидали тучи комаров.

— Я пошла домой, — объявила Жюльетта.

“Пойти домой” предполагает наличие дома. Мне стало любопытно, что под этим подразумевает моя сестра. Поблизости от “Джалчатры” она села на пенек и стала читать.

Я отправилась на разведку в одиночестве. Среди прокаженных бродил мужчина без носа. Вместо носа зияла большая дыра. Когда он разговаривал, видно было, как шевелится его мозг. “Запомни, это и есть наша речь”, — сказала я себе.

Всем энергично заправляла шестидесятилетняя сестра Мари-Поль. Вскоре к ней присоединились две толстые монахини-фламандки: сестра Лис и сестра Лен, обе моложе тридцати. Эта ударная бригада творила чудеса.

Спать в “Джалчатре” приходилось в кельях, тесных и темных. Во мраке, однако, вполне можно было разглядеть пауков. Мы с Жюльеттой спали вместе в одной келье. Чтобы добраться ночью до туалета, мы провожали друг друга, по очереди неся свечу. Главное было не провалиться в яму, куда надлежало справлять нужду. Вернувшись, мы смотрели на наш дортуар, гадая, какое пре-

ступление искупаем этими муками.

Рассвет был благодатью, избавлением от кошмара. Сестра Мари-Поль приветствовала нас:

— Ну как, девочки, правда здесь хорошо спится?

Мы не осмелились возражать.

Я занялась исследованиями в близлежащих джунглях, я знала, что ушастый козодой гнездится на земле. Вооружившись палкой, я раздвигала высокие травы, ползучие лианы и низкие ветви в надежде наткнуться на свое спящее альтер эго. Мне попадались крысы, огромные неизвестные змеи, и мое недоумение росло. Зачем подвергать себя опасности, когда так удобно жить на дереве? Да, яйцо может выпасть из гнезда, но это угроза менее вероятная, чем риск быть сожранным удавом. Уж не лентяй ли он? Чтобы свить гнездо на ветке, надо приложить некоторые усилия. Эта мысль мне не понравилась. Козодой, вечно такой сердитый, должен быть более взыскательным, он же не какой-нибудь флегматик. Мне не хотелось думать, что он выбрал путь наименьшего сопротивления. Потом у меня возникла другая идея: гнездо на земле — самое надежное укрытие. Мой избранник — мастер камуфляжа. Окраска делает его невидимым. Раз я его не замечаю, значит, он

наверняка где-нибудь здесь прячется.

С наступлением темноты в воздухе вдруг сразу появилось множество ушастых козодоев. У них шли брачные игры: самцы щелкали крыльями. Меня это не просто утешило, меня это спасло. Когда чувствуешь себя не в силах породить достойную мысль, надо наблюдать — этому научила меня любовь к птицам.

Если бы я питала страсть к рыбам, змеям или тиграм, я была бы совсем другим человеком. Повсюду, в любое время года или суток, на этой планете мы видим птиц. Даже в океане можно наблюдать миграцию полярных крачек. Любовь к пернатым заставляет ежеминутно быть начеку. Всегда наготове. Любовь, которая живет наблюдением, тем более наблюдением за столь подвижным племенем, влияет на характер. Постоянное созерцание такого скрытного существа научило меня искусству любить неуловимое. Нас удивляет любовная верность у птиц. Однако это совершенно естественно для тех, кому неведомо собственничество.

Сестра Мари-Поль ухитрялась делать вид, будто любит нас с Жюльеттой. Она, похоже, не понимала, как такие замечательные люди, как наши родители, могли породить девчонок, начисто

лишенных сострадания. Когда она предлагала помочь ей ухаживать за прокаженными, мы не моргнув глазом отвечали, что должны повторять латинские склонения.

— Что-то вы не слишком усердно повторяете, — говорила она.

— Мы повторяем устно, — отвечала Жюльетта сдавленным голосом.

Старуха как-то застукала меня, когда я раздвигала палкой траву. Я тут же начала бубнить: *Rosa, rosa, rosam*[12].

Мы терпеть ее не могли, зато испытывали симпатию к толстым молодым монашкам, которые добродушно нам улыбались.

Мне исполнилось двенадцать. Это меня не обрадовало, ибо ничего хорошего не предвещало. В Бангладеш девочек моего возраста выдавали замуж.

Жизнь была беспросветно скучной. Не будь в ней Жюльетты и книг, в ней не было бы вообще ничего.

— У тебя переходный возраст, — сказала мать.

Я отказывалась это признавать. Пубертат пред-

---

[12] Примечания: 12

Склонение латинского слова “роза” в именительном, звательном и винительном падежах.

ставлялся мне каким-то проклятием. Я слышать о нем не желала. Детство еще не отпускало меня, я цеплялась за него руками и ногами.

В Кокс-Базаре родители познакомились с неким судовладельцем лет пятидесяти по имени Нурул Ислам. Этот солидный человек пялился на меня при любой возможности и говорил со мной невероятно почтительно. Он называл меня *the young lady*. Мне хотелось его убить.

– *What is the young lady's interest in life?*[13] — спросил он, обращаясь ко мне в третьем лице.

– *Birds*[14], — ответила я.

Он обрушил на нас поток сведений о "Беседе птиц"[15].

— Какой образованный человек, — восторгалась моя мать.

— Замуж за него не пойду, — сказала я.

— А жаль, — сказал отец, — он взял бы тебя без приданого.

— Не смешно, — ответила я.

— Ну смотри, может, лучше ухаживать за про-

---

[13] Примечания: 13
Чем интересуется в жизни юная леди? *(англ.)*

[14] Примечания: 14
Птицами *(англ.)*.

[15] Примечания: 15
"Беседа птиц" — поэма персидского поэта Аттара (ок. 1175).

каженными.

Мы с Жюльеттой удрученно поглядели друг на друга. Неужели выбор между старыми корабельщиками и лепрозорием — единственное, что нам светит в жизни?

Я спасалась, проводя большую часть времени в море. Когда Нурул Ислам заявлялся на пляж и ставил свой шезлонг рядом с родителями, я бесилась и ждала, пока он уйдет, чтобы вылезти из воды.

— Месье Ислам приглашает тебя поужинать на его яхте! — объявил отец, когда я подошла.

— Это шутка?

— Нет. Разве не здорово?

— Ты, конечно, сказал, что твоя дочь не продается? — продолжала я.

— Что ты такое говоришь?

— Правду. Ты, разумеется, отказал ему.

— Нет! Мы с твоей матерью согласились тебя отпустить.

— А я не согласна. Не поеду ни за что.

— Поедешь.

— Вы хотите, чтобы этот отвратительный старикашка делал со мной всякие пакости?

— Как тебе такое в голову пришло? — возмутился отец. — Ты еще ребенок, он же знает. Видит.

Я поняла, что родительская наивность бьет все

рекорды. Вечером я напялила уродский комбинезончик. Мать этого не потерпела и нарядила меня в платье с оборками. Я успокоилась, решив, что так выгляжу еще хуже.

Нурул Ислам ждал меня у дверей отеля, стоя перед своим “роллс-ройсом”. Родители напомнили мне, что я должна потом поблагодарить его, и растроганно смотрели, как автомобиль удаляется.

Яхта была пришвартована там, где лет сто назад, вероятно, был порт. Нурул Ислам очень церемонно пригласил меня подняться на борт.

Мы не снялись с якоря. Слуги провели меня на палубу, где стояли два шезлонга. Мне подали стакан лимонада.

Нельзя не признать, что Нурул Ислам оказался идеальным хозяином. Пока его лакеи обслуживали меня как принцессу, он беседовал со мной на возвышенные темы. Он не позволил себе ни одного неуместного жеста и не сказал ничего двусмысленного. И все равно это был отвратительный вечер. Когда он привез меня обратно в отель, я изо всех сил постаралась ни в коем случае его не поблагодарить.

Когда я вернулась, Жюльетта уже спала. Жаль, мне так хотелось с ней поговорить. Глядя на ее красивое спящее лицо, я мысленно сказала ей:

“Почему я не такая, как ты? Ты как наши родители, ты не видишь ничего дурного. Интересно, что со мной не так, если я вижу зло там, где его нет?”

Заснуть я не могла и долго лежала, прокручивая в уме весь этот странный вечер. “Пусть даже со мной что-то не так, но я хотела бы знать, почему старикашка пригласил именно меня. Может, его привлекают дети, одержимые демонами?”

Тут передо мной разверзлись бездны. Я принялась искать признаки своей одержимости демонами и нашла их в избытке. “А меня это както напрягает?” — задумалась я. Нет, само по себе мне было это безразлично. Единственное, что не вписывалось в такую версию, — моя страсть к птицам.

“Развивай в себе птицу, — решила я. — Посмотрим, куда это тебя приведет”.

Однако как быть с воспоминаниями о вечере с Исламом? “Поступай как твои родители и сестра, которые молчат”.

Наутро жизнь пошла своим чередом, как будто ничего не случилось. Никто не задал мне ни одного вопроса, и я не стала рассказывать о невинном ужине с тем, кого я называла старикашкой.

Когда я заплыла далеко от берега, я увидела, как он пришел на пляж и устроился рядом с моими

родителями. Они что-то живо обсуждали. Я сидела в воде до тех пор, пока старикашка не ушел.

Когда он удалился, я подошла к ним.

— Нурул Ислам говорит, что ты отличная собеседница, — сообщил отец.

— Так он, наверно, называет тех, кто вообще не открывает рта, — прокомментировала я.

— Значит, ты великолепно умеешь слушать.

— Я притворяюсь, — ответила я.

— Это целое искусство.

Не впервые я сталкивалась с суперпозитивным подходом к жизни моих родителей, но впервые меня это так разозлило.

Я в страхе ждала продолжения разговора: наверняка старый хрен пригласил меня опять. Но нет, ничего подобного. Я удивилась даже больше, чем обрадовалась.

— А ты ничего не скажешь? — спросила я Жюльетту.

— Я тебя понимаю, ребенок, — ответила она.

Мы вернулись в Дакку, и начался новый учебный год. Девяти часов латыни в неделю мне было мало, я добавила себе шесть часов древнегреческого. Меня дразнили:

— Молодец, идешь в ногу со временем!

Я не реагировала и с наслаждением осваивала

греческий алфавит. Отсутствие учителей в поле зрения имеет свои преимущества: можно делать что хочешь. Шесть часов греческого, которые значились у меня в программе, превратились в шестнадцать за счет математики и естественных наук. Во время контрольных работ никто за нами не следил: мы с Жюльеттой преспокойно открывали учебники и списывали, вставляя кое-где мелкие ошибки, чтобы все выглядело правдоподобно. Правда, по латыни и греческому я считала для себя делом чести не списывать.

Таким способом мы достигали впечатляющих результатов. Родители только изумлялись, что их дочери так блестяще учатся. Их гораздо больше беспокоила наша вялость. В тот год я выросла на двенадцать сантиметров. Жюльетта тоже не отставала. Не потому ли, когда нужно было куда-то ехать или идти, мы были не в силах пошевелиться? Малейший выход из дому доводил нас до изнеможения. В какой-то уикенд мы даже обнаглели до того, что отказались ехать в лепрозорий. “Нет сил”, — единственное, что мы могли сказать.

Упоительный вкус победы, когда родители уехали в “Джалчатру” без нас. Мы рухнули на диван в гостиной и провалялись там два дня.

Рождество мы праздновали на небольшом кораблике, курсировавшем в дельте Ганга. Сундарбан[16] населяют в основном крокодилы, которые с вожделением преследовали нас. Когда я наклонялась, чтобы на них посмотреть, они разевали пасти, и я чувствовала их зловонное дыхание. Капитан предупредил меня:

— В Бангладеш все голодные! Для крокодила вы — еда. Он проглотит вас не жуя. Пищеварительные соки довершат дело.

Я только ахала.

На моих глазах молодой крокодил как муху проглотил чайку. Меня это пронзило.

— Согласитесь, что Рождество у нас в этом году необычное, — сказали родители.

Мангровые заросли кишели ушастыми козодоями, но появлялись они лишь в сумерках. Я терпеливо ждала, наблюдая за горными ласточками. Их странная особенность заключалась в том, что они делили норы с животными-землекопами, такое поведение в этой затопленной местности не могло не беспокоить меня. Я наблюдала, как они исчезают между корнями баньяна, чтобы добраться до норки обитавшего там крота.

---

[16] Примечания: 16

Сундарбан — самый большой мангровый лес на Земле, расположенный в Индии и Бангладеш.

Зачем селиться в подземелье, когда приятнее жить на верхушке дерева? Это было еще удивительнее, чем нелепая мания козодоев спать днем на земле.

От непрерывного размышления о птицах что-то во мне дало трещину. Я не знала, что именно. Разбивать утром скорлупу яйца всмятку стало философским занятием.

Наступление нового года было мне безразлично, равно как и все остальное. Латинский абсолютный аблатив[17] не имел эквивалента в древнегреческом языке. То, что в латыни выражается аблативом, в греческом выражается дательным и родительным падежами. Функцию абсолютности в греческом выполняет абсолютный родительный, а в латыни — абсолютный аблатив. Мое странное обучение происходило в обратном порядке, поскольку греческий древнее латыни. Получалось, что греческий родительный абсолютный дает в латыни аблатив. От этих грамматических мутаций у меня захватывало дух.

В древнегреческом существовал страдательный залог повелительного наклонения. Это было настолько невероятно, что я старалась придумать

---

[17] Примечания: 17

Аблатив — один из косвенных падежей в латыни.

реальные поводы для того, чтобы отдавать такие приказы: “Будь убит!” или “Будь съеден!” Требовалось довести покорность судьбе до предела.

Пасха. Каникулы в Кокс-Базаре. В самолете я сосредоточилась на образе Нурула Ислама: “Будь убит!” Однако никаких признаков его присутствия в приморском городке не оказалось. Я вздохнула с облегчением.

Каждый день я бросалась в Бенгальский залив с его волнами в человеческий рост. Я заплывала все дальше и дальше. Жюльетта и родители сидели на пляже, наслаждаясь встречей с солнцем.

Когда я вылезала из воды, мне очень не хватало местных детей. Куда подевалась пляжная стая малышей? У моря были только мы.

— Здесь водятся акулы, будь осторожна, — сказала мне мать.

Я проигнорировала ее предупреждение и заплыла еще дальше, чем всегда. А что, если доплыть до горизонта?

И тут меня схватили руки моря. Множество рук, не принадлежавших ни одному видимому телу, поймали меня, раздели и овладели мной. Обуявший меня ужас не мог заглушить безумную боль.

“Будь съедена!”

Мне понадобилась вечность, чтобы собраться с силами и закричать.

Мать услышала и кинулась ко мне. Увы, я была слишком далеко. Казалось, она не доберется до меня никогда. Тем временем руки моря терзали то, что было в их власти, — то есть всё.

Когда мама была уже метрах в тридцати, руки отпустили меня. Мать вынесла меня на берег. Купальник болтался у меня на щиколотке.

Мы увидели, как вдалеке выскочили из воды четверо парней и бросились бежать. Они были молодые и быстроногие, никто не знал, кто они такие.

— Бедная девочка, — сказала мать.

И больше ни единого слова ни от одного из трех свидетелей. Без этих слов матери я бы сошла с ума.

Я не сошла с ума. Что-то во мне угасло. Никто больше никогда не видел меня в воде.

В тот день я заметила над пляжем горную ласточку. Обычно они не залетали так далеко. Лежа на песке, я наблюдала за ней. Она-то и подсказала мне некое объяснение случившегося. Руки моря разбили мою скорлупу, я перестала быть яйцом, как раньше. Отныне я голый птенец без перьев и должна суметь превратиться в птицу. Это будет

чудовищно трудно.

Мы больше не ездили в Кокс-Базар.

Следующие месяцы прошли для меня в тусклой, унылой болтанке. Я была, но меня как бы не было. Учебники по орнитологии стали моими настольными книгами, я все еще искала в них способы взлететь.

Я снова оседлала свой старый велосипед, который внушал мне надежду, что с его помощью у меня это получится. Выехать на нем за пределы Гульшана[18] казалось достойной целью. И мне это удалось, но, доехав до пригородов Дакки, я почувствовала себя на краю обитаемого мира. Преодолеть эту границу я не смогла. Значит, кататься на велосипеде не то же самое, что летать.

Летом мне исполнилось тринадцать. Отвратительно. Этот возраст задавал тон, возвещая обвал, гибридность, всякие мерзости. Мой хмурый взгляд не обходился без комментариев: “Ей тринадцать лет!”

Для спасения от пустоты у меня не было ничего, кроме птиц. Не зная, как учиться у них, я стала еще больше на них смотреть. То, что виделось

---

[18] Примечания: 18

Гульшан — элитный район Дакки, где расположены посольства, госучреждения и рестораны.

мне как зияющее ничто, для них было любимейшей игровой площадкой. Туда, где нет ничего, они и устремлялись. Что такое полет, как не наслаждение пустотой?

Вот же он, ключ к проблеме, прямо передо мной. Но воспользоваться им я не могла. Чего-то не хватало. Я очутилась в положении западного художника, потрясенного открытием пустоты в живописи Дальнего Востока, но неспособного включить ее в свое искусство, потому что ему не известно, как освободиться от перегруженности.

Нужно было начинать все с нуля. Я только об этом и мечтала, но не знала, как найти исходную точку. Ломала голову день и ночь.

При всей моей отрешенности я не забросила древнегреческий. Случайно, делая перевод какого-то текста, я узнала, что Гермес, бог-вестник в крылатых сандалиях, считался еще и психопомпом. Психопомп — проводник душ умерших. Это замечательное прозвище Гермеса соответствовало подобной роли и в других культурах: например, в христианской иконографии есть птица-психопомп, всем известный голубь, образ Святого Духа, который принес беременность Деве Марии.

“А что, если это я?” — подумала я.

Троица предлагала амплуа, которые я рассматривала со всей серьезностью. Отец? Нет, я не гожусь для такой роли, ее, кстати, великолепно исполнял мой отец. Сын? Я с энтузиазмом примеривалась к этой ипостаси, но недавно испытанная боль резко положила конец столь амбициозному проекту. Я не хотела ступать на поприще, чреватое таким безмерным страданием. А Святой Дух — почему бы нет? Есть ли причины отказываться? И кто подходит для этой роли больше, чем я?

Для тех, у кого глаза полезут на лоб от такой мегаломании, уточним, что в совсем раннем детстве я была еще круче: я видела себя Богом. Согласие быть всего лишь Святым Духом в тринадцать лет свидетельствовало о медленной, но верной эволюции в направлении чуть большей скромности.

Кстати, пользуюсь случаем поблагодарить моих родителей, которые никогда не считали нужным устанавливать для меня какие-то пределы. Поэтому отвергнуть роль Отца или Сына из-за их мужского пола мне и в голову не приходило. Подобные соображения для меня не существовали. Что до Святого Духа, то ничто не указывало на его пол, возраст, национальность или человече-

скую природу. Он предпочитал являться людям в образе птицы. Я над этим работала.

Психопомп: нет нужды примерять на себя название, чтобы полюбить его. Не будучи помпезным, оно обладало известной помпой. Надо забыть о его значении, чтобы насладиться странными созвучиями и ассоциацией с помпой пожарной. Когда я впервые встретила слово “психопомп” в качестве прозвища Гермеса, я сначала подумала, что этот бог был пожарным души — служба, казавшаяся мне настолько необходимой, что я могла лишь удивляться, почему ее нет.

Изначальная помпа-насос, от которой пошло потом множество других разнообразных помп, — это сердце. Можно ли было изобрести механику, основанную на законах взаимодействия пустоты и наполнения, не будь постоянного движения желудочков и предсердий? Этот насос качает нашу кровь. Неблагодарный язык наделил это слово нелучшими коннотациями, вроде “засасывать”, “сосать кровь” или “насосаться” применительно к пьяному.

Тут налицо этимологическая путаница. Голландское слово *pomp* дало нам “помпу” в механическом смысле, тогда как “помпезный” происходит от греческого “помпе”, “торжествен-

ное шествие”. Психопомп берет свою вторую часть от “помпариос”, “сопровождающий”, того же происхождения, что и “помпезный”. Вполне можно допустить существование корня, схожего с “пемпо” и “помпе” со значением “толчок” или что-то вроде того.

В тринадцать лет я поняла, что только этот “толчок” может вырвать меня из трясины страдания. Но, увы, как тут действовать?

В поисках решения я обратилась к мифологии. Среди знаменитых психопомпов был Орфей. Он мне нравился. Я решила стать Орфеем. Для этого мне понадобилась Эвридика.

— Жюльетта, побудешь для меня Эвридикой?

— Ну, слушай, я же еще не умерла.

Справедливо. Я вспомнила руки моря: умерла я прежняя. Меня отделяли от той несколько месяцев, казавшихся непреодолимым барьером. Я стала ее могилой. Пересечь реку в царстве Аида, чтобы ее отыскать, казалось мне менее трудным делом, чем для Орфея не оглянуться на Эвридику. Такая задача была мне не по силам.

“У меня не получится”, — сказала я себе.

И тут же устыдилась: “Должно получиться. Ты не знаешь ни пути, ни способа. Как динозавр, который хотел летать. Не торопись, тут нужно

время”.

Отыскать в себе умершую. Каким образом? Она была уже так далеко, что я ее почти не видела, и еще слишком близко, чтобы я могла ее разглядеть. Меня как-то раз застали за рассматриванием своих старых фотографий, сделанных до той роковой весны: я чувствовала, что изменилась, но не знала, в чем именно.

Это был тупик, поэтому я решила отыскать другую покойницу, единственную, какую знала, — свою бабушку по отцу. Я ее очень любила, но она умерла, когда мне было три года. Я решила ее призвать. Тогда я впервые попробовала себя в искусстве, которым буду много заниматься впоследствии, — разговаривать с мертвыми. Вероятно, мне не хватило опыта. Ничего не вышло.

В Бангладеш в 1980 году смерть царила везде. Какой надо быть бездарью, чтобы не суметь вступить в контакт с местным божеством!

“Может, нужно попросту умереть”, — подумала я. И хладнокровно рассмотрела этот вопрос. Имелось одно препятствие: что-то во мне протестовало. Я не понимала, что, собственно, меня останавливает. Сегодня мне известно, что это называется инстинкт самосохранения. Тогда я не подозревала о его существовании.

Стать психопомпом не значит умереть. Следовало познакомиться со смертью поближе. На одном из пустырей Дакки я наблюдала поразительную сцену: на земле сидели стервятники и ждали. Я слезла с велосипеда и подошла. Они стерегли труп собаки. Прилетел их вожак, забрал свою долю и отправился пожирать ее в другое место. В ту же секунду птицы набросились на труп и в мгновение ока очистили его от мяса и внутренностей. Я посмотрела на скелет. Сколько времени понадобится, чтобы мой скелет вот так очистился? И разве в этом моя цель? На то, чтобы облегчить свой скелет, динозавры потратили миллионы лет. Интуиция подсказывала, что у меня для этого как раз идеальный возраст.

Достаточно перестать есть. Я прекратила питаться. Было трудно. В первые недели страшно мучил голод. В родительской библиотеке стоял роман Робера Мерля “Смерть — мое ремесло”. Название меня обожгло. Я начала читать, и хотя роман не имел ничего общего с тем, что я задумала, он очень меня увлек.

Постепенно голод в желудке утих. Я расценила это как победу. В Бангладеш все привыкли обходиться без еды. Куда реже случалось, чтобы человек, у которого еда имелась, не притраги-

вался к ней.

Каждую ночь в постели я убеждалась, что мой скелет становится все более заметен — на ощупь он проступал все отчетливее. Я с ним разговаривала: “Ты скелет той, умершей. Расскажи мне про смерть”. Скелет не отвечал. Я не отчаивалась. Однажды он ответит.

Как ни странно, анорексия меня спасла. Два года практически без пищи помогли мне начать с нуля, в чем я так остро нуждалась. Победа над голодом утвердила во мне другого человека.

Между травмой и анорексией прошло девять месяцев — девять месяцев невыносимой муки, когда я ежесекундно заново переживала свое падение. По сравнению с этим перестать есть было легче легкого. Разумеется, мое здоровье сильно пошатнулось. Но, не разбив яйцо, омлет не сделаешь.

До своего изнасилованного отрочества я была яйцеобразной. Чуть более поздние фотографии демонстрируют тощего ощипанного птенца с огромными глазами. Переход между этими двумя состояниями был ужасен. После метаморфозы страдание постепенно угасло. Мне просто нечем было страдать, как и вообще что-либо чувствовать.

Раньше мне было больно расставаться с очередной страной. Теперь же я едва заметила переезд из Бангладеш в Бирму. Эти две страны абсолютно разные, объединяла их только одна особенность, хорошо мне понятная: в обеих мало ели. В Бирме голод не так бросался в глаза, потому что она была менее густо населена.

“Нет человека — нет проблемы”, — любил повторять Сталин, уж он-то знал, о чем говорил. В Бирме в распоряжении у смерти было гораздо меньше людей. Это не мешало ей трудиться на полную мощь, но скорее по политическим причинам. Не берусь об этом писать, меня там словно не было.

Внутренний враг дразнил меня:

— Ты стала тощая, как швабра. А летать и вовсе не способна.

— Это лишь одна из стадий процесса, — отвечала я флегматично.

Я сознавала свое поражение. Я никогда не перейду на следующую стадию, потому что умру. Чтобы обмануть его и себя, я принялась переводить “Илиаду”. Я взялась за это с жаром, удивившим меня саму. Пропадать, так с музыкой.

Мое тело было корпусом троянского коня. В нем, как и положено, затаился враг, чью лука-

вую власть я вынуждена была терпеть.

Когда я смотрелась в зеркало, он говорил:

— Она со дня на день умрет.

— Почему ты обращаешься ко мне в третьем лице?

— А ты уверена, что это ты?

Хороший вопрос. Передо мной было отражение существа, которое я едва могла разглядеть и не вполне узнавала.

Помню мысль, пульсировавшую у меня в голове в пятнадцать лет: “Если бы кто-нибудь мне гарантировал, что я выберусь из этой ловушки, я бы зарыдала от счастья”. Выбраться означало жить. Я рассматривала возможные выходы — все были заблокированы.

Когда я не переводила Гомера, я стояла у окна и наблюдала за птицами. Они летали слишком далеко, чтобы я могла их опознать, за исключением серых ворон. Тем не менее иногда я замечала горную ласточку, которую считала сочувствующей свидетельницей моего падения. Ни одного ушастого козодоя, но, вероятно, увидеть его мешала темнота. Я не была несчастна. Я пребывала в ужасе и отчаянии и переживала это в какой-то экзальтации.

Из Бирмы мы перебрались в Лаос, где народу

было еще меньше. Судя по тому, как шло дело, скоро нам предстояло оказаться в стране небытия. А я уже почти там и была: мой троянский конь внушал опасения. Его встречали вопросительными взглядами: “Что у него внутри?” Мне хотелось ответить, что ничего. Это было неправдой. Оставался маленький огонек, который горел без горючего.

Во Вьентьяне была запрещена музыка, за исключением государственного гимна, гремевшего из репродукторов на рассвете и на закате. Мелодия была до смешного убогой, но, как и все, я слушала ее с восторгом. В том безнадежном путешествии, в которое я пустилась по неосторожности, это были единственные позывные проходящего времени.

По другую сторону Меконга располагался Таиланд. Когда ветер дул оттуда в сторону Лаоса, слышались обрывки местного пиликанья. Это казалось фантастикой — страна, где с утра до вечера звучит музыка.

Меконг был Стиксом. Вьентьян лежал в царстве мертвых.

Внутренний голос скрипел:

— Ты психопомп-неудачник. Переправиться через реку невозможно. Ты умрешь.

Только птицы пересекали Меконг, да и то лишь те, которые умели летать далеко. Река была неимоверной ширины.

У меня появилась подруга, она навещала меня в моей комнате. Ее звали Вьенгкео, ей было тридцать лет — меня это не смущало, потому что я уже не имела возраста. Она говорила, что любит меня за мои брови: она считала их красивыми. То, что во мне можно найти что-то красивое, покоряло меня.

“Вьенгкео” означало, надо думать, “изумруд”. Она всегда одевалась в зеленое. Она ласково рассказывала мне обо всяких пустяках. Я была бесконечно благодарна ей за это.

Однажды ночью я поняла, что смерть уже рядом. Она возвестила о себе невообразимым холодом. Термометр показывал тридцать градусов, так что это точно была безносая.

Произошло нечто невероятное. Мое тело покинуло мою душу. Троянский конь выплюнул свое жалкое содержимое и отправился есть. Моя душа — греки — наблюдала за этим с возмущенными возгласами. Они кричали, что мы так не договаривались и не для того столько претерпели. Конь слушал да ел.

Это стало началом другой долгой болезни. Дере-

вянный конь не переваривал ничего. Пришлось заново учиться усваивать пищу. Это требовало бездны времени и сопровождалось невыносимыми страданиями. Греки вопили от ярости, не замечая чуда: все остались живы. А точнее, троянский конь совершил то, что не смог Орфей. Он нашел неожиданный и весьма успешный способ гарантировать возвращение к жизни, сделав ставку на будущее. Душа однажды успокоится и вернется. А пока она пребывает вне своего тела, она не заслуживает иного названия, кроме как “греки”.

Вот твари! Вергилий предупреждал меня, что их следует опасаться. Троянский конь решительно удирал, не принимая дары данайцев, — кому, как не ему, было знать, сколь они токсичны.

Меня поражало, что кое-кто жаждет быть бестелесным духом. Я вела параллельно две жизни: жизнь тела и жизнь души. Жизнь тела была не блестящей, но оно храбро двигалось к постепенному выздоровлению. Жизнь души состояла из проклятий и зубовного скрежета — греки презирали желание жить.

Тому, кто стремится стать птицей, сложно быть троянским конем. “Илиада” помогла бы мне выиграть время, если бы там вместо этой клячи

фигурировала деревянная птица. Впрочем, они не совсем чужие друг другу. В качестве недостающего звена мифология предложила мне Пегаса.

Я продвигалась ощупью. Приехав в семнадцать лет в Брюссель, я начала писать, просто так. Я как раз прочла Рильке, который указал мне путь, если не доступный, то, по крайней мере, дозволенный. Когда троянский конь берется за перо, можно представить себе, что получается. Это было до того трудно, что я уже готова была стать троянской ломовой лошадью, чтобы тащить такой тяжелый плуг. Чудо, что я не бросила.

Годы юности были ужасны. В университете в ответ на мои попытки сближения я получала одни насмешки. Другие студенты, видимо, чувствовали, что я какая-то не такая. Одиночество провоцировало нескончаемые нападки греков. Приходилось днем и ночью противостоять враждебности то с одной, то с другой стороны, что не прошло для меня даром.

Я твердо держалась взятого курса. Инстинкт звал меня в Японию моего детства, я не сомневалась, что там меня ждет спасение.

Окончив университет, я вернулась в Страну восходящего солнца. Мне был двадцать один год. Троянский конь находился в жалком состоянии.

Токио не Сюкугава[19], но инстинкт вел меня правильно: через несколько недель я заметила, что греки постепенно становятся менее агрессивными и делают шаги к сближению.

Я начала писать еще упорнее. Речь шла уже не о том, чтобы пропахать борозду на земле, а о попытке выводить слова в небе на манер скайрайтера[20]. Чем больше я упражнялась в этом, тем охотнее греки тянулись обратно в троянского коня.

Однажды весной я проснулась ночью около двух. Меня разбудило чудо: мои ноги были теплыми. Такого со мной не случалось с двенадцати лет. Десять лет я передвигалась на ледяных ходулях, какой бы ни была температура вокруг.

Ощущение было настолько прекрасным, что я заплакала от счастья. Сидя в кровати, я гладила свои ноги до кончиков пальцев и не могла остановиться. Я не просто радовалась, я поняла значение случившегося: моя душа целиком и полностью возвратилась в тело. Никаких больше

---

[19] Примечания: 19

Сюкугава — район города Нисиномия (префектура Хёго), где жила в детстве Амели Нотомб.

[20] Примечания: 20

Скайрайтер (от *англ.* skywriter) — *букв.*: пишущий в небе; самолет, создающий с помощью дыма надпись, читаемую с земли.

греков и троянских коней. Эвридика наконец оценила решительный маневр Орфея и выражала ему благодарность.

Все сразу встало на свои места. Я вновь открыла для себя несравненную благодать, именуемую здоровьем. Это слово означает, что душа и тело хорошо ладят между собой. Во мне проснулась колоссальная энергия и хлынула в разные пласты моего существования начиная с писательства.

Писать — для психопомпа самое подходящее занятие. Я стала Пенелопой собственного воскрешения, мне приходилось заново запускать этот процесс каждое утро, но я сочла, что, как и любая другая настоящая трудность, это благо.

Палингенез[21] стал для меня ежедневной оздоровительной процедурой раз и навсегда. Десять лет попыток выжить не обходятся без последствий. Одно из них — вечный утренний страх, что не уцелею. Чудо не дается навсегда. Нужно неутомимо проходить одни и те же этапы все с тем же вполне оправданным замиранием сердца: опасность утратить навыки полета крайне велика. С каждым рассветом я бросаюсь в пустоту с безумной надеждой, что за ночь не разучилась

[21] Примечания: 21

Палингенез (от *греч.* новое рождение) — периодическое возрождение какого-либо предмета, явления или субстанции.

летать.

Чудеса почти всегда имеют оборотную сторону: Лазарь дурно пах, исцеленный слепец увидел уродство мира. Я же быстро осознала, что за чудо придется платить — платить постоянным страхом снова рухнуть в бездну.

Отсюда необходимость никогда не покладать рук. Не покладать крыльев — я же все-таки стала птицей. Какой именно? Птиц слишком много. Ушастый козодой остался моим любимым тотемом, но во мне жили еще и баклан, и сова, и овсянка, и сарыч, и еще много других. Вернее, это я жила в них.

Отныне писать означало летать. Не хочу сказать, что читать меня — это воздушная гимнастика, но знаю, что, когда я достигаю нужного для письма состояния, я лечу. Мой сон обрел реальный смысл. Да, я выработала технику, которая позволяет взлететь: надо занять некую особую позицию внутри себя, рассчитать угол, взлетную дистанцию — и ринуться.

Ринуться в буквальном смысле: низринуться головой в пропасть. Видеть, как приближается земля, и махать крыльями — не для забавы, а чтобы не разбиться.

Жан Кокто в “Трудности бытия” дает определе-

ние тому, что он называет “линией”: отточенное искусство, помогающее удержаться на высоко натянутом канате письма. Это и есть стиль: арсенал приемов, применяемых настоящим писателем, чтобы не позволить фразе сорваться.

Еще и поэтому я не терплю зачеркиваний. Для меня падение — смерть. Если я иногда что-то и правлю, то лишь из-за неловкого взмаха крыльев, и то если успеваю уцепиться за ветку. Если я падаю — рукопись погибла. Воскрешение произойдет в другом тексте, не в том, который привел к моему падению.

Когда Рильке говорит, что писательство должно быть вопросом жизни и смерти, я не вижу тут метафоры.

Стать психопомпом в Японии не пустяк. Японская земля вибрирует от невероятной мощи. Там я открыла для себя птиц — в образе журавлей. Мне бы очень хотелось стать журавлихой, но журавлиха — танцовщица.

В “Золотом храме” Мисима описывает фигурку феникса на крыше павильона[22] и говорит, что феникс устремляется в полет не в пространстве, а во времени. Вот поистине грандиозная цель.

---

[22] Примечания: 22

Имеется в виду так называемый Золотой павильон, Кинкакудзи, один из храмов в комплексе Рокуондзи в Киото.

Никто не знает, удастся ли ему это.

Не будучи ни журавлем, ни фениксом, я попробовала себя в роли японского соловья. Неудивительно, что тот, кто первым освоил полет, стал и первым певцом. Полет вызывает такой экстаз, что радостное пение неизбежно.

Я решила, что моим пением станет письмо. Как жаворонок, я буду петь, когда летаю. Точнее, мой полет станет моей музыкой. Тоненькая, негромкая мелодия, возможно слышная мне одной, но это все-таки музыка жизни.

Многие народы видели в птице психопомпа. Это и понятно: кто способен преодолеть самую главную преграду, если не тот, у кого есть крылья? А психопомп в человеческом образе — это Орфей, поэт, тот, кто поет, — и это еще одно свойство птицы.

Японский соловей — роскошная птица. Облаченный в пестрое кимоно, он поет как великий оперный солист. Ясно, что мне с ним не сравниться. Я скорее похожа на дрозда — из-за черного оперения, а еще из-за экспериментального характера моего пения. Дрозд — необычный певец, способный как на шедевры, так и на провалы. Мне нравится, что он никогда не бывает собой доволен и не ставит себе никаких ограничений. Он

черпает вдохновение во всем, что слышит: в музыке Бетховена и в грохоте отбойного молотка.

Преимущество птицы в том, что она знает, как трудно летать. Знает лучше всех, потому что ей самой пришлось учиться и на ее глазах погибали птенцы — ее братья или дети, — когда у них не получалось. Такое не забывается. Это знание даже в большей степени, чем умение, делает птицу существом высшего порядка. Когда мы смотрим, как она летит, — особенно это заметно у некоторых особей, — мы угадываем ее восторг, ее восхищение и ликование. И, судя по ее виду, она вовсе не считает, что полет — нечто вполне естественное, ничего особенного и вовсе не повод так уж бурно радоваться.

Ей не нужны зрители, ей достаточно себя. Смотрите, как она взлетает, почувствуйте то, что она чувствует: “Я могу!” Смотрите, как она отдается небу, отдается пространству: “Я лечу! Лечу!” Смотрите, как она садится: “Я приземляюсь, и земля не разверзается подо мной”. Птица — гений настоящего момента.

Я хотела жить настоящим, как она. Я позаимствовала ее стратегию: ежедневно проделывать то, что представляется невероятным, нереальным. По многу часов в день преодолевать себя,

брать разгон, срываясь со всех якорей, писать, расправив крылья, и каждый миг заново творить чудо, позволяющее продержаться еще секунду. Тот, кто непрерывно рискует, знает, что такое здесь и сейчас.

Когда борешься с законами гравитации, невозможно перенестись ни в прошлое, ни в будущее — под будущим я подразумеваю следующий миг. Столько всего нужно контролировать, что и не перечислишь — сопротивление воздуха, неожиданные воздушные потоки, — рассчитывать силу движений, не слишком размашистых и не слишком дробных, и верную дистанцию по отношению к реальности, которая в этом случае полностью соответствует определению Лакана: то, обо что мы бьемся.

Главное — ритм. Потеря такта — потеря ритма. Неловкий взмах крыльев, если он попадает в ритм, ни на что не повлияет — а вот сбой ритма, даже секундный, может оказаться непоправимым. Не удивительно ли, что время лежит в основе обеих уникальных способностей птицы — полета и пения?

Я была новичком и в том, и в другом искусстве и не миновала ни одной западни, подстерегающей дебютантов. В первом полете возникает

экзальтация, которая сама по себе таит огромную опасность: перестаешь соображать, что делаешь. Все начинающие писатели знают: перечитываешь назавтра то, что накануне написал в состоянии подъема, и обнаруживаешь, что вспаханная борозда не хранит ни малейших следов пережитого экстаза. Хуже того, это и не борозда вовсе, а пустое место, буквально ничто.

Из этого не следует, что можно писать, не испытывая ничего подобного. Не нужно защищаться от этой безграничной мощи, нужно поймать в ней свой ритм. Чувствовать, что на тебя обрушивается Ниагара, и усмирить ее напор, если требуется, задав ей темп капающей из крана воды. Тренировать силу сдерживания.

Не верьте тому, кто заявляет: “Я не хочу ничего особенного — просто писать”. Либо он лжет, либо тут кое-что похуже. Писать — желание высочайшее, наравне с полетом. Ни одна птица никогда не подумает: “Я не хочу ничего особенного — просто летать”. Летая каждый день, она знает, что полет — нечто грандиозное. Польза ежедневного письма заключается еще и в том, чтобы никогда не забывать, как это трудно.

Надо было еще научиться обходиться минимальным количеством материала. Птица знает:

чтобы взлететь, нельзя брать с собой ничего тяжелого. Как мы узнаём стиль новичка? По перевесу багажа. Чего только нет в его фразе, и если спросить, насколько важен какой-нибудь ее элемент, он сердится:

— Ах, это же все меняет, иначе будет непонятно!

Умение отличить важную деталь от балласта, сильное слово от громоздкого — искусство, которому учишься годами.

Я всегда писала только романы — вероятно, чтобы приучить себя видеть целое. Со стороны это незаметно, и все же в полете птицы есть рациональное начало. Возможно, она этого не осознает, но я уверена, что ее выбор рождается не из чистой прихоти. Она исследует, фиксирует, составляет мысленную карту. Птица — наблюдатель. Когда надвигается землетрясение, она чувствует это раньше всех и перестает петь. Тот, кто внимательно смотрит на птицу и прислушивается к ней, всегда бывает оповещен о том, что происходит с миром.

Если роман выполняет, по стендалевскому определению, роль зеркала, с которым идешь по большой дороге, в нем может содержаться и некое прозрение, но при условии, что пишущий

не ставил перед собой такой цели. Цель — это авторская воля, которая так стискивает и мнет реальность, что выворачивает ее наизнанку как перчатку. Честный романист отдает предпочтение напряжению перед идеей, любопытству перед властью над сюжетом. Это приходит с опытом: писать, держа в поле зрения не столько цель, сколько окружающий пейзаж.

Состоявшийся художник — тот, кто не жертвует тем, что видит, ради *big picture*[23], увлеченностью ради наблюдения. Верные пропорции ощущаются телом. Чтобы поймать это равновесие, нужны годы полета. Так что терпение!

Вот он, камень преткновения. Девяносто девять процентов начинающих отвергают стадию обучения. Главное для них — публикация. Это так же нелепо, как если бы птица рассматривала полет исключительно как средство для участия в авиашоу. От скольких дебютантов я слышала: “Мою рукопись не приняли. Я зря потратил время”. Когда издатель отвергает текст, это обидно, понимаю. Но если вам кажется, что вы зря потратили время, значит, издатель поступил правильно.

Писать — прекраснейший удел. Нет выше

---

[23] Примечания: 23
Общая картина *(англ.)*.

благодати. Публикация иногда бывает дополнительным бонусом, но часто убивает изначальное удовольствие. Можно добиться ее ценой больших усилий, мучительного беспокойства, болезненной одержимости, но сама по себе она ничего не меняет.

Жаворонку не придет в голову сетовать на трудности, которых ему стоит полет. Разве его пение в небе не есть проявление радости? Ни одна птица не считает себя жертвой.

Когда, интересно, у писателей появилась манера роптать? Разве Орфей жаловался на свой нелегкий труд? Вряд ли. Нет ли в этом брюзжании свойственного людям желания поймать двух зайцев? Писать — огромное счастье, но хитрец раздумывает, нельзя ли в придачу еще и развлечься, изображая жертву. “Завидуете, что я писатель? Вы даже представить себе не можете, какая это собачья работа, никакого здоровья не хватит” и т. д.

Я долго летала без всякой цели. Мне было двадцать два года, я только что освоила технику полета. Каждый день я вставала в четыре — так сильно меня разбирало желание писать. Раннее утро — идеальный момент, состояние духа в это время самое правильное. Рядом никого, и можно

в одиночестве совершить этот непостижимый прыжок в пустоту. Принцип полета уже известен: создавать напряжение, а потом его разряжать. Ежесекундно. Если разрядка не приносит наслаждения, то это не разрядка — сразу кубарем падаешь вниз.

Мишель Лейрис сожалел, что процесс письма не таит опасности, сравнимой с рогом быка во время корриды. Он ошибся метафорой. Письмо таит громадную опасность разбиться, потому что это полет.

Кокто с его образом линии ближе к истине: эквилибристика — этап на пути к взлету. Тут требуется равновесие такое точное, что срываешься при малейшем колебании.

Каждое утро мне хотелось испытать это телесное искусство. Я понимала, почему у меня раньше не получалось: в моем теле отсутствовала душа. В самолете не было мотора.

Вскоре для меня началась каторга в японской компании. Я приучила себя просыпаться еще раньше, чтобы успеть порезвиться в токийском небе, прежде чем идти в офис отбывать ежедневные часы унижения. Эта двойная жизнь длилась год, когда я спала по два часа в сутки.

Мой профессиональный провал в этой компа-

нии имел огромный плюс: он открыл мне глаза на мою непригодность к такого рода службе. Если бы летать стало моей полноценной работой, думала я, вот было бы великолепно. Я, конечно, предвидела, что меня ждут отказы от издателей, но это куда меньшее унижение, чем сносить издевательства в компании "Юмимото".

Вернувшись в Брюссель, я написала свой одиннадцатый по счету роман "Гигиена убийцы". Я рискнула послать рукопись парижским издателям. Ее принял Франсис Эсменар в издательстве "Альбен Мишель", где она и была опубликована 1 сентября 1992 года.

Я была ослеплена Парижем. Меня предостерегали против этого города, и в его недоброжелательности я убедилась. Но я влюбилась во всю эту красоту. Издательский дом "Альбен Мишель" стал моим любимым вольером. Я порхала там ежедневно.

Как я вскоре узнала из прессы, никто не верил, что это я написала "Гигиену убийцы". Моя внешность не вязалась с общим представлением о том, как должен выглядеть автор такой книги. Это меня развеселило. В самом деле, кто бы мог предположить, что роман написала птица? Я не сразу сообразила, что моя птичья натура тут ни при

чем. Приводили в замешательство моя юность и пол. Полемика была до такой степени нелепой, что я потеряла к ней интерес. Не существовало никаких способов доказать мое авторство, и его признали за мной только потому, что ни один другой писатель не заявил на него права. Никто больше на него не польстился.

Быть птицей оказалось довольно удобно. Меня объявили неуловимой. В этом не было дружелюбия, но я не возражала. Боковое зрение позволяло хладнокровно поглядывать на бессчетные попытки меня спугнуть. Птичья натура не так уязвима, как человечья. Я свила гнездо без особых проблем.

По-настоящему трудно было принять роль психопомпа. С ходу это не получалось. Смерть, естественно, не дремала и кружила вокруг меня, как вокруг всякого человека. Однако во мне не срабатывал нужный рефлекс. Когда кто-то отходил в мир иной, я упархивала прочь, как подсказывала жизнь.

Сопровождать душу умершего — еще поди знай, как это делается, если соглашаешься на такую миссию. Говорить подобающие случаю общепринятые слова недостаточно. Я обнаружила, что не обладаю талантом психопомпа, и

расстроилась.

Япродолжала писать как на крыльях. Каждая рукопись была очередной миграцией: я не ведала, куда лечу, и узнавала маршрут уже в пути. Чем больше я писала, тем сильнее было ощущение, что я вычерчиваю гигантскую карту птичьего мира. Я позволяла себя нести разным ветрам, чтобы выявить воздушные течения.

Важно было не попасться в капкан таких бессмысленных вещей, как концепция, месседж или символика. Если впоследствии обнаружится, что траектории моих полетов имеют некий смысл, я все равно не должна надеяться увидеть его сейчас. Возможно, кстати, мне вообще не дано увидеть геоглиф[24], который я создаю. А если никакого геоглифа не будет, это тоже совершенно неважно.

Когда закладываешься на долгую перспективу, не обращаешь внимания на сиюминутные суждения. Мои романы выходили каждый год, и принимали их довольно хорошо. Не обходилось и без сокрушительных разносов — свидетельство того, что меня заметили. Я философски относи-

---

[24] Примечания: 24

Геоглиф — нанесенный на землю огромный рисунок, который можно рассмотреть только с большой высоты; наиболее известный пример — геоглифы на плато Наска в Перу.

лась и к тому, и к другому.

Я потеряла человека, которого безумно любила. Это была первая смерть, перевернувшая меня. Мне было двадцать восемь лет, и я не знала, как это выдержать, просто чувствовала, что сама умираю. Чем не позиция психопомпа? Но среди буравящей меня боли я услышала любимый голос. Это не был громкий зов или даже уверенная речь, скорее тихое журчание, к которому я решила прислушаться. Я узнала его тембр, его манеру говорить. Я ответила. Завязался диалог. Мы двигались разными путями, и тем не менее это было сопровождение. Кто сопровождал кого? Невозможность это определить показалась мне хорошим знаком.

Каждый объясняет такие явления по-своему. Меня поражает безапелляционность тех, кто видит в них самовнушение. Хотя это всего лишь одна из допустимых гипотез, не более того. Как можно полагать, будто знаешь истину в таком вопросе? Надо быть очень высокого о себе мнения, чтобы счесть это самовнушением. Я твердо знала, что никогда не смогла бы придумать реплики умершего и произнести их за него. Тем, кто заявил бы, что я, к примеру, почерпнула их в своей памяти или воображении, я бы ответила,

что нужно ни в грош не ставить другого человека, чтобы предположить, что его сложность и тонкость его высказываний легко заменить подобными суррогатами. К тому же речь шла не о замене и даже не об утешении. Это было первым открытием того, что я не раз замечала в дальнейшем: пропасть между жизнью и смертью вовсе не является непреодолимой.

Это нисколько не продвинуло меня в понимании того, что такое смерть. Миссия психопомпа не имеет никакого отношения к гносеологии. Она метафизическая по умолчанию. Психопомп пребывает в полном неведении. Гибкость неведения — прямая противоположность догме. “Помпа” в “психопомпе” подразумевает движение. Для психопомпа смерть не есть прекращение движения. Умершему, как и живому, предстоит еще пройти большой путь. Было бы слишком самонадеянно считать психопомпа полноценным проводником на этом пути, но не будет ошибкой видеть в нем некое дружеское присутствие, существо, сопровождающее покойника в начале его долгого странствия.

Птицу на эту роль выбрали в стольких разных культурах потому, что ее присутствие не обременительно. Полет птицы — нечто едва уловимое.

Птица не лает, не ест из рук. Когда-то моряки жадно высматривали первую птицу, которая возвестит им об успешном завершении плавания. Психопомп — это примерно то же самое.

Для меня миссия психопомпа заключалась в том, чтобы писать. Я имела конкретное доказательство, что это как-то связано со смертью: когда я писала свои романы, даже в сильную жару, температура моего тела резко падала. Я всякий раз снова чувствовала леденящий холод, который в отрочестве едва не унес меня в могилу. Я чувствую его и сейчас, когда пишу эти строки.

Холод — еще более загадочное явление, чем жара, хотя и то и другое относительно и предела не имеет. Тем не менее существует абсолютный температурный ноль.

У жары такой точки нет. При абсолютном нуле (– 273 °C) прекращается любая клеточная активность. Даже в смерти этого не происходит. Холод сильнее, чем смерть.

Не раз испытав и жару, и холод, я поняла, насколько человек зависит от них. В жару наступает пресыщение всем, в том числе самой жизнью. Пресыщенность не может считаться нормальным состоянием, она вызывает тошноту, отвращение, вопрос “а зачем?”, физическую и

умственную усталость, граничащую с упадком. В настоящие морозы мы обнаруживаем всю глубину своего ничтожества. Терпя лишения, мы концентрируемся на самом насущном и превращаемся в голый сгусток нужды.

От жары можно умереть. Мне такая смерть не грозила, во всяком случае пока. Но от холода я едва не умерла. Не исключаю, что эта предотвращенная угроза объясняет мои особые отношения с холодом. Я ненавижу его, потому что сама в чем-то на него похожа. Во мне сохранились кое-какие его свойства, с которыми я борюсь. Когда Кафка говорит, что литература нужна, чтобы разбить лед внутри нас, это буквально про меня. Я тоже пишу, чтобы во мне не застыл лед. И это полнейший парадокс, ибо процесс письма погружает меня в неописуемый холод. Я как бы всякий раз невольно воссоздаю экстремальные условия, чтобы разгадать тайну. Словно пытаюсь узнать, как далеко могу зайти, сопровождая смерть.

Когда становится слишком холодно, некоторые птицы начинают петь нестерпимо красиво. Научного обоснования для этого великолепия нет. Единственная гипотеза орнитологов: красота заставляет слегка отступить ужас перед морозом. В жару сколько ни прислушивайся — ни одна

птица не поет. Между тем изнемогать от жары — тоже стресс. Похоже, никакое эстетическое переживание не спасает от страха перед жарой — по крайней мере, ни один биологический вид его пока не открыл.

Психопомп работает на холодной стороне: хотя холод и сильнее смерти, они существуют в одной и той же полусфере. Орфей, первый психопомп-человек, пел песни, открывшие ему доступ в подземный мир. Я на свой лад занимаюсь экспериментами в области криогеники[25]. Будучи начинающим психопомпом, я интуитивно действовала как в игре “горячо — холодно”, но наоборот. “Тепло” или “горишь” у меня означало “ошибаешься”. “Холоднее” — “продолжай, ты на правильном пути”. Я писала, сверяясь с внутренним градусником.

В моих романах, независимо от того, опубликованы они или нет, все ощутимее присутствует смерть. Каждый из них по-своему только о ней и говорит. Я никогда не скрывала, что очень долго собиралась с силами, готовясь написать “Жажду”[26], которая является психопомпным текстом:

---

[25] Примечания: 25
Криогеника — техника создания низких температур.

[26] Примечания: 26
“Жажда” (2019) — роман Амели Нотомб об Иисусе Христе.

шаг за шагом сопровождать в непосредственной близости того, чья кончина была предрешена его божественной судьбой, находиться рядом с ним в момент смерти и после нее. Иисус тоже, возможно, нуждался в психопомпе. Стать психопомпом Христа было, безусловно, моим самым амбициозным проектом.

Я откладывала этот замысел сколько могла, сознавая несопоставимость темы с моей скромной персоной. Писать эту книгу было невыносимо мучительно. Пришлось спускаться в чрезвычайно опасные области. Глагол “спускаться” возник из реального переживания: я испытывала физическое ощущение медленного погружения во внутренние бездны. На самом дне я нашла тень идеального покойника, которого отождествила с Христом. Анахронизм не проблема. Умершие выпадают из времени.

Истинная трудность заключалась в том, чтобы занять правильное место: психопомп не сливается в одно целое с тем, кого сопровождает, он держится к нему как можно ближе, но не пытается преодолеть рубеж, отделяющий одного человека от другого. Для этого идеально подходит деликатное братское присутствие птицы. Мне надлежало научиться любить как птица. Нена-

вязчивое соседство, боковой взгляд. Опуститься на плечо — предельно допустимое изъявление такой любви.

Я упивалась описанием этой единственной в своем роде близости. Прав Рильке: жизнь на стороне тех, кто выбирает самый трудный путь. Роль психопомпа помогла мне почувствовать себя более живой. Но мне еще нужно было задать вопросы Христу в решающий момент его существования. Я спросила, и мне ответили.

Меня терзали самые разные и вполне обоснованные страхи: я рисковала потревожить покойника, которого глубоко почитала, рисковала сойти с ума и, главное, рисковала не справиться. Как птица, пробующая взлететь, я знала, что второго шанса не будет. Если я упаду, то больше не взлечу никогда. Сказать, что я писала этот текст, охваченная священным ужасом, не будет преувеличением. Я не подвергалась физическим истязаниям, но писать было такой пыткой, что каждое утро, просыпаясь, я говорила себе: “Пора взойти на крест”.

Четыре месяца, которые это длилось, обескровили меня, и я считала, что больше уже ничего не напишу. Что можно написать после “Жажды”? Снова браться за перо казалось мне смехотворной

нелепостью. Я ошибалась. Кровопотеря вызвала приток свежей крови. Едва разродившись, я снова начала писать — чего не сделаешь, чтобы вернуть здоровье.

Встал вопрос, публиковать "Жажду" или нет. Издать ее было менее важно, чем написать. Я перечитала текст и сочла, что он созвучен той музыке, которую я слышала, когда писала. Книга вышла и вызвала ожидаемый гнев и с той, и с другой стороны. Были, однако, и великолепные отклики.

Я принесла ее отцу, первому человеку, рассказавшему мне о Христе. Он прочел, и ему понравилось. Его мнение значило для меня больше, чем тысяча других. Я обрадовалась, еще не зная, как отзовется впоследствии моя радость. Через несколько месяцев отец умер. Это было в начале пандемии, и я не смогла присутствовать на похоронах. Запертая на локдауне в Париже, наедине со своим горем, я вскоре заметила, что происходит нечто необыкновенное.

Я никому не говорила, что ощущала себя психопомпом, когда писала "Жажду", да и остальные свои романы. Однако отец, похоже, это понял, потому что, едва умерев, принялся непрерывно говорить со мной. Ничего общего с тихо

струившимся голосом моего первого дорогого покойника. Я отчетливо слышала безошибочно узнаваемый отцовский голос.

Этот сдержанный человек говорил со мной так, как прежде не говорил ни разу. Просто, открыто, как идеальный отец. Он был хорошим отцом, но никогда не расслаблялся, как будто ему мешала какая-то внутренняя скованность. Теперь она исчезла. Он говорил со мной уверенно и свободно.

Шли месяцы. Отцовский голос не стихал. Меня это необычайно поддерживало. Летом я наконец смогла поехать в Бельгию и пойти на его могилу. В каком-то порыве я легла ничком на надгробную плиту и сразу почувствовала, как душа отца обняла меня, что он никогда не решился бы сделать, будь он жив, но никаких сомнений в том, что это именно он, не возникало. Я расплакалась от счастья.

Настала осень, отец не умолкал. Я забеспокоилась, хороший ли знак, что умершему отцу нужно столько всего сказать дочери. Разумеется, я была тронута и рада. Но, отвлекаясь от эмоций, я пыталась определить природу этого зова. Теперь, по прошествии времени, все ясно как день. Но тогда было не вполне очевидно. Отец видел во мне психопомпа и хотел пройти этот путь вместе

со мной. “Я сделала это для Христа, могу сделать и для Патрика Нотомба”, — подумала я.

Я начала “Первую кровь”[27] с его первой встречи со смертью, еще до моего рождения. Роль психопомпа собственного отца невероятно меня воодушевляла. Я писала не под его диктовку. Я его слушала и слегка регулировала музыку его голоса. Я писала партитуру его вечности. При жизни отец выпустил две автобиографические книги. Это были потрясающие свидетельства, но с литературной точки зрения несовершенные, потому что он не опускал ни одной детали. Мне предстояло отшлифовать его наследие, сохранив бесценную первооснову.

Кто нуждался в ком? В случае с Христом я была единственной заинтересованной стороной. В ситуации с отцом — чудо идеального равновесия: я нуждалась в том, чтобы он со мной говорил, а он — в том, чтобы я *его* говорила. При жизни он обожал, когда я говорила о нем. После смерти хотел, чтобы я превратила его самого в живую речь. У меня было ощущение, что я без труда воссоздаю

---

[27] Примечания: 27

“Первая кровь” (2021) — роман Амели Нотомб о жизни ее отца. Основное действие происходит в 1960-е годы в Конго, где молодой бельгийский консул Патрик Нотомб, спасая жизнь заложников, ведет опасные переговоры с мятежниками. В самом начале книги он стоит перед расстрельным взводом, вспоминая свое детство и любовь.

в общих чертах личность Патрика Нотомба, проясняю его лексику, расчищаю синтаксис. Сам он был бы не способен на это: он не имел никакого представления об особенностях своей речи.

У нас были с ним, что называется, отличные отношения, но после его смерти это стало чем-то гораздо большим, чем просто отношения отца с дочерью. Когда я писала его книгу, это было общение, какое каждый ребенок мечтал бы иметь со своим отцом, равно как и отец с ребенком: любовь без подавления, преданность без самопожертвования, уважение без протокольных церемоний.

Я всегда любила отца почтительно, лгала ему, когда надо — то есть часто. Теперь любить его почтительно больше не означало лгать, что, впрочем, не требовало от меня и никаких исповедей, поскольку с отцом, прежде таким далеким, я ощущала абсолютную близость. Я писала, он читал через мое плечо, и когда я оборачивалась спросить его мнение, то видела, что он счастлив.

Любовь позволяет рассказать друг другу все, но не обязывает это делать. В наших посмертных беседах отец не пускался в подробное изложение фактов. Я узнала о нем массу прекрасных подробностей, когда писала “Первую кровь”, потому

что если процесс письма достигает желаемого напряжения, то все постигаешь молниеносно. И конечно, этому способствовало постоянное присутствие отца, но присутствие в форме того, что называется *contact high*. Смерть имеет с психоделическим состоянием нечто общее: и то и другое — уход из времени. Освобождение из этого узилища дает особые возможности.

Мозг функционирует еще и как радио — он может быть и приемником, и передатчиком. Душа моего отца сохранила обе функции. Она продолжала передавать и принимать лучше, чем при жизни. Содержание его передач удивляло. Например, он раньше никогда не говорил со мной о Жорж Санд и вдруг стал увлеченно рассказывать о ней. В то время я была к Жорж Санд равнодушна, так что это никак не могло быть самовнушением. Когда-то я остановилась на “Маленькой Фадетте” и теперь, начав читать “Историю моей жизни”, была покорена.

Записывать в роли психопомпа отцовский голос было важно прежде всего мне: я поняла, почему отец так хотел зачать меня. Раньше, как ни странно, зная все факты, я не улавливала причинно-следственной связи. Хотя он подробно изложил все, что этому предшествовало, в

своей книге “В Стэнливиле”, а я прочитала ее дважды. Поразительно, как мы бываем слепы перед тем, что бросается в глаза. Когда я осознала, что обязана жизнью его спасению от неминуемой смерти и последовавшему всплеску жизненного инстинкта, меня это потрясло до глубины души.

Мне хочется верить, что “Первая кровь” была важным сопровождением и для отца. Раз я так остро почувствовала его желание, чтобы я написала эту книгу, значит, ему не давала покоя какая-то недосказанность или избыток жажды жизни, который должен был найти свое выражение.

“Первая кровь” — книга жизни. Жизнь там бьет через край, ощутимее, чем во всех остальных моих книгах. Притом что у меня отнюдь не самый кипучий темперамент, далеко нет. Просто сопереживание психопомпа наполнило текст особой энергией: от отца избыток горючего перетек в меня. И это тем более удивительно, что он тоже не отличался бурной витальностью. Он был герой в истинном смысле слова: человек не как все, человек, держащийся в тени. Прямая противоположность горластым крикунам, толпящимся на авансцене.

Хорошая смерть зависит от многих факторов.

Не могу претендовать на то, что знаю их, но если кто-то умирает хорошо, я это чувствую: он уходит в наиболее подходящий момент, выполнив то, что считал своей миссией. И это, конечно, случай моего отца. Для хорошей смерти ему не нужна была моя помощь, но смею утверждать, что я помогла ему блестяще реализовать себя в смерти.

Единственное, чего ему до сих пор недоставало, это легенды. Легенда — нечто большее, чем биография, она имеет словесную природу. Этимология подсказывает, что легенда — это то, что надлежит о ком-то прочитать. А если учесть, что латинское слово *legere*, "читать", происходит от "собирать", то легенда — это метафизический урожай. Вот плоды жизни моего отца.

Начало января 2021 года. Я сижу ранним утром в Пон-д'Уа[28] за отцовским столом. Я пишу "Первую кровь". Это сильно — сидеть за его столом и писать легенду о нем.

Солнце еще не взошло, у меня горит лампа. Я пишу о последнем разговоре с Гбенье[29], главарем повстанцев, который сразу после инсценировки

---

[28] Примечания: 28

Пон-д'Уа — замок Нотомбов в Арденнах.

[29] Примечания: 29

Кристоф *Гбенье* (1927–2015) — один из главных руководителей повстанческого движения во время конголезского кризиса 1960–1964 гг.

расстрела подходит к моему отцу и спрашивает, хочет ли тот завести еще одного ребенка. Подлинный незабываемый ответ Патрика Нотомба: “Это будет зависеть от вас, господин президент”.

Написав это, я застыла в нерешительности и подумала: “Может быть, это финал?”

И вдруг лампа гаснет. Оторопь.

Громко говорю вслух:

— Папа, твоя книга закончена.

Лампа вспыхивает снова.

— Вижу, ты со мной согласен.

Я закрываю тетрадь.

Это было единственным прямым вмешательством отца в работу над книгой. Мало сказать, что оно было знаковым. Конец книги одобрил тот, кто пережил собственный конец. Я отнесла рукопись своему издателю, он принял ее к публикации. С этого дня отец замолчал. Он получил то, что хотел. Я достаточно хорошо его знала, чтобы понимать, как он этого желал. При его жизни, когда я о нем говорила — естественно, в превосходных тонах, — он ликовал. Он доверял мне, и не зря. Я никогда не преступила бы определенных границ.

Молчание отца не было полным. Его реплики стали редкими и малозначащими. Главное, я

чувствовала, что это молчание счастливое. Я не больше других знаю о смерти, однако глубокое спокойствие моего отца, последовавшее за диалогом длиной в год, позволяло предположить, что это и есть тот великий покой, о котором часто говорят. Если так, то как не порадоваться этому долгому сну? Возможно, оттого, что я страдаю бессонницей, не могу представить себе лучшего объяснения.

Но никаких общих решений нет. Не существует особых методов психопомпа, не существует руководства на случай смерти близких. К этому можно подготовиться, если не упускать из виду, что каждый уход радикально отличается от других. “Стиль — это сам человек”[30] — так оно и есть, и после смерти тоже.

Нельзя предсказать, как поведет себя тот или иной персонаж после смерти. Тут играют роль ваши отношения при его жизни. Но не исключены и сюрпризы: вдруг обнаруживаешь, что тебя ненавидел кто-то, кто не раз демонстрировал свое расположение, узнаёшь о тихой любви, которая казалась ни к чему не обязывающей легкой

[30] Примечания: 30

Знаменитая цитата из речи французского ученого и писателя Бюффона (1707–1788), произнесенной по случаю его принятия во Французскую академию.

дружбой, сталкиваешься с чьим-то полным равнодушием, хотя когда-то дождем сыпались знаки восхищения.

Молчание многозначно. Есть молчание влюбленное, и есть молчание враждебное. Но в любом случае возможность общения зависит от того, кто жив. Принимать послания нетрудно научиться. Смею думать, что если я хороший адресат, то, скорее всего, потому, что у меня было много горьких моментов в жизни. Это условие не достаточное, но необходимое.

Не все годятся на роль психопомпа, и причина проста: большинство от нее отказывается. Моя мать была в полном отчаянии от потери горячо любимого мужа. Сколько раз я предлагала ей попытаться поговорить с ним! Она утверждала, что не способна на это. Я хотела ей помочь:

— Давай попробуем вместе.

Но мать всегда находила предлоги, чтобы уклониться. Я не раз наблюдала такую позицию, она, собственно, встречается чаще всего. Мертвые по одну сторону, живые по другую. Разве не так нас учат жить, подчас вопреки тому, что подсказывает наша безошибочная интуиция?

Мне понадобилось много времени, чтобы распознать в себе призвание психопомпа. Я и не

подозревала о нем. В двадцать лет я потеряла очень дорогих друзей. Мне не пришло в голову прислушаться к ним после их смерти — наверняка поэтому я ничего и не слышала.

Но главное — это передающая инстанция. Кто-то после смерти шлет нам сообщения, а кто-то нет. Надеюсь, что это обусловлено их выбором, а не другими менее приятными причинами. Повторюсь: молчание не есть дурной знак. Мы все замечали, что бывает счастливое молчание. Некоторые умершие сразу, если позволительно так выразиться, обретают равновесие.

Нам нужно только держать ухо востро — будем считать здесь ухом наше желание — на случай, если умерший захочет что-то прибавить к сказанному при жизни. С моим отцом все было очевидно. Но иногда дело куда сложнее. Если какой-то неприятный вам покойник пытается вступить с вами в контакт, обрубите связь. Мы вправе отказаться. Если он не отстает, твердите как мантру: “Нам не о чем говорить”. В конце концов он отвяжется. Такие почти всегда используют в качестве рычага давления чувство вины. Не попадайтесь в эту ловушку. Вы его не выносили при жизни, не думайте, что смерть его изменила.

Это не противоречит тому, в чем я все боль-

ше убеждаюсь: бывают поистине талантливые покойники. Тут нет никакого цинизма. Мой отец был прекрасен в жизни, и как он прекрасен в смерти! Как изумительно он со мной разговаривал! Не противореча себе, не меняя тона, переходил от *small talk* к серьезным вещам.

Помимо его желания обрести легенду, я вижу в его посмертном общении со мной другой мотив, даже более весомый: пока он был жив, предельная внутренняя деликатность не позволяла ему признаваться в своих чувствах. Он отделывался шутками, избегая говорить об этом всерьез. Разумеется, мы понимали, что он нас любит. Нам бы хотелось, чтобы он это сказал.

Последний раз я видела отца живым 9 марта 2020 года. Я была в Брюсселе и уже собиралась уезжать обратно в Париж. Когда пришло время прощаться, я, видимо, что-то почувствовала, потому что сказала сама:

— До свидания, папа. Я люблю тебя.

И он ответил:

— До свидания, Амели. Я люблю тебя.

Мы никогда этого друг другу не говорили.

Я уехала очень взволнованная, а потом больше об этом не думала. Через неделю его не стало.

Одно с другим не связано. Мой отец умер от

рака, мучившего его уже давно. Но факт остается фактом: это было его первое “Я люблю тебя”, которое он сказал и услышал. Он никогда не говорил этого моей матери, хотя пылко любил ее. Почему? Я не спрашивала, но догадываюсь об ответе: потому что такое неловко говорить. Соответственно, и моя мать тоже никогда не говорила ему этого, хотя была без памяти в него влюблена. Ей я отважилась задать вопрос о причине такой сдержанности.

— Он должен был сказать первый.

— Но ты могла хотя бы спросить.

— Слишком рискованно, — сказала она без колебаний.

Это, по крайней мере, понятно. “Слишком рискованно”. Она была права. Даже для пары, прожившей вместе пятьдесят лет, такие слова оставались взрывоопасными. Кроме того, моя мать — женщина своего времени: инициатива принадлежит мужчине.

Сказав отцу “Я люблю тебя”, я не только дала ему возможность ощутить действие этих слов, но и перехватила мужскую прерогативу. Его это явно не оставило равнодушным, потому что он сразу же ответил на мое признание с таким же пылом.

Я никогда не узнаю всю подоплеку, но не исключаю, что мое “люблю тебя” открыло шлюзы для наших необыкновенных посмертных диалогов. Ему пришлось ждать почти восемьдесят пять лет, чтобы услышать первое признание в любви. А вдруг оно отворило в нем некую дверцу?

Жизнь отца проходила в любви и дружбе, он любил людей, все могут это подтвердить. Не скупился на добрые слова. И тем не менее у него была одна особенность: сказать “люблю тебя” казалось ему немыслимым. Не случайно он так глубоко с первого взгляда полюбил Японию и она ответила ему взаимностью. Если реинкарнация не пустое слово, то в прошлом он, наверно, был сёгуном: его отличали величие и сила, учтивая жестокость, добродушная строгость.

Я пытаюсь поставить себя на его место. Он уже одной ногой в могиле, и вдруг дорогая дочка говорит: “Я люблю тебя”. Конечно, он был потрясен. И вероятно, решил, что это требует нешуточного постскриптума. Сказано — сделано.

В общем, я рада, что сказала ему “Я люблю тебя” вовремя. Такие слова лучше услышать при жизни. Но даже если вы не решились их произнести или не имели возможности, скажите это своим умершим. Я убеждена, что никогда не поздно. Эти

слова обладают уникальным эффектом.

Пока есть жизнь, есть надежда, как справедливо гласит пословица. Я бы, со своей стороны, расширила сферу ее применения. Смерть не конец метаморфоз. Было бы нелепо так считать, ведь она сама не что иное, как метаморфоза. То, что неудачно сложилось с живым, можно исправить или хотя бы как-то изменить с умершим. Нет, это не попытка благостного утешения. Это констатация факта. Повторяю: лучше все проблемы решать с живыми, но, если вы не успели, не думайте, что это непоправимо.

В ситуации с моим отцом речь шла не о проблемах. Наши с ним проблемы были незначительными, по крайней мере они меня не мучили. В нашем случае должен был состояться наконец прорыв в общении двух человек, которые после стольких лет признались друг другу в любви.

К сведению тех, кто считает, что слова не нужны, когда чувствуешь себя любимым: да, мы оба знали, что любимы, но какое же счастье это произнести и услышать!

В жизни мы поочередно оказываемся то в роли приемника, то в роли передатчика. Поражает почти полная синхронность обеих ролей. Едва я произнесла эти потрясающие слова, как тут же

получила их обратно. Что действует сильнее: сказать их или услышать? Вот оно, чудо любви, — исчезновение границы между приемом и передачей. Слияние двух человек, когда уже не знаешь, кто говорит, а кто слушает. Коснуться руки, не до конца понимая, чья она — твоя или его. Желаю всем пережить момент такого сомнения.

Бьорк, которой я восхищаюсь безмерно, говорит в одной из своих песен, что слова “Я люблю тебя” разрушают очарование. Возможна и такая точка зрения. Наверно, и правда лучше не повторять их на каждом шагу. Превращать такие волшебные слова в навязчивый припев — какая расточительность! Та же Бьорк во многих других своих песнях без конца повторяет *I love you*. Это как с шампанским: шампанское — мой любимый напиток, но иногда мне его не хочется.

Из всех моих книг отцу больше всего нравилась “Жажда”. Определенную роль, я думаю, сыграла его любовь к Христу, но могу допустить, что он вдруг почувствовал во мне психопомпа. Не исключено, что он тогда заранее решил: “Когда умру, поговорю с Амели. Посмотрим, что получится”. Посмотрели.

То, что ясно без слов, становится еще яснее, если сказать это словами: четких инструкций не

существует. Понятно, что невозможно да и не хочется психопомпствовать с первым попавшимся мертвецом. Тут необходима близость, и близость настоящая. Мы же вовсе не обязаны: я наотрез отказалась говорить с покойником, которого сочла незваным гостем. Он долго донимал меня, потом отстал, как живой. Диву даешься, до чего схоже поведение человека до и после смерти. Бояться мертвого так же нелепо, как бояться живого: и тому и другому достаточно сказать нет и твердо стоять на своем.

Но если мы впускаем к себе покойника, нет причин опасаться, что дело обернется плохо. Лично я не знаю более идиллического соседства. Можно всем сердцем любить живого человека и мечтать провести часок без него. Любимый призрак не обременяет никогда.

Не хочу показаться многоопытной: три принятых покойника, один отвергнутый — не слишком впечатляющий *curriculum mortis.* Нам не дано угадать, кто умрет хорошо. Что значит умереть хорошо? Быть к смерти готовым, согласным ее принять кажется мне благоприятным условием. Разумеется, нужно постараться, насколько это в наших силах, не умереть раньше времени. Но в ситуации несчастного случая, когда ясно,

что смерть неминуема, надо запустить процесс принятия. Сказать себе, что это будет феноменальный, захватывающий опыт и из него нельзя ничего упустить. Смотреть во все глаза и слушать во все уши.

Посмертный контакт соответствует личности каждого по ту и по эту сторону. Инициатива принадлежит умершему. Признаться, меня повергают в недоумение люди, занимающиеся столоверчением. Озадачивает не сам способ, а его бесцеремонность. Мертвые чрезвычайно щепетильны в вопросах вежливости, они не любят, когда их принуждают к общению. Разговаривайте с ними, но не требуйте, чтобы они отвечали.

Не обижайтесь, если умершему нечего вам сказать. Его молчание может быть очень хорошим знаком. Возможно, он сразу обрел великий идеальный покой. Кроме того, общение требует от него серьезных усилий. Он не станет тратить их на пустую болтовню. Посмертный контакт случается редко, потому что такой расход энергии предполагает действительно существенную причину. Я хочу подчеркнуть это, поскольку те, кто обращается к медиуму, чтобы связаться с любимыми покойниками, обычно спрашивают: “Ну как ты там, дедушка?”

Понимаю, но не тревожьте умерших ради этого.

Психопомпу положено быть в доступе. Это не значит, что ваша жизнь должна остановиться. Спокойно занимайтесь своими делами, мысленно говоря иногда ушедшему: “Если хочешь, я здесь”.

Еще одна очевидная вещь: у покойника тот же характер, что был при жизни. Не пользуйтесь этим для сведения счетов. Если вы согласились на диалог, дайте ему высказаться сполна, и только потом возражайте. Дождитесь удобного момента.

Помню, как-то во время нашей беседы я сказала отцу что-то обидное. Он сразу послал мне в ответ неприятный запах, какой бывал у него, когда он болел. Месседж яснее некуда. Я засмеялась, запах тут же пропал.

Чаще всего интенсивное общение в конце концов сходит на нет. Не огорчайтесь. Тут все как в жизни. Молчание не означает отказ или разрыв. Как в дружбе, так и в любви это безошибочный показатель: человек, с которым молчать легко и приятно, — избранник души.

Мертвый часто красноречивее живого. Он уже не пережевывает без конца одно и то же.

Ему достаточно однажды выговориться, чтобы больше к этому не возвращаться. Будьте как он. Такое пережевывание — это слова, отравленные горечью, больная речь. Чтобы исцелиться, нужно вложить всего себя в свое высказывание, сделав повторение невозможным.

Когда я прожужжала все уши подобными разговорами моей подруге Татьяне, бельгийской издательнице, она спросила, не собираюсь ли я писать продолжение “Четырех соглашений”[31]. Я усвоила урок.

Янамерена и дальше развивать в себе птицу. Это непросто. Меня не интересует поверхностное сходство, и я вовсе не поэтизирую пташек. Птица не прелестное невесомое создание, порхающее по своей прихоти, птица — богатырь среди слабаков, каковыми являемся мы с вами. О пернатых много говорил Франциск Ассизский. Жаль, что Ницше не распознал в птице своего сверхчеловека — ну или, по крайней мере, сверхживотное! Даже самый очаровательный колибри — это могущественное божество, а не милая невеличка.

Когда я путешествовала по лесам Амазонки, я

---

[31] Примечания: 31

Имеется в виду книга “Четыре соглашения. Тольтекская книга мудрости” (1997) мексиканского писателя и неошамана Дона Мигеля Руиса, переведенная на 38 языков.

отыскала местный орнитологический справочник. Я стала его листать, и у меня голова пошла кругом. Он был в пятнадцать раз толще своего европейского аналога. Непонятно, как эта команда орнитологов умудрилась зарегистрировать столько видов, тем более что, как сказано в предисловии, многие наверняка ускользнули от их внимания. Завораживало даже не так количество тамошних птиц, как их облик. На каждой странице я встречала все новых и новых грозных воинов, наводящих страх не только своей окраской. Особенно меня поразило, что зачастую самцы и самки совершенно между собой не похожи. Я преклоняюсь перед исследователями, которые сообразили, что они вообще имеют отношение друг к другу. Как не изумляться такому многообразию летучего племени!

Целый ряд южноамериканских геоглифов изображает птиц. Если их цель — показать небесным божествам наших земных божеств, то выбор птицы более чем уместен.

С тех пор как я начала писать, у меня птичий распорядок дня. Я просыпаюсь все раньше и раньше и сразу принимаюсь за дело. Где это видано, чтобы птица не проснулась на рассвете и сладко проспала все утро. Так и я не даю себе поблажек.

В моей жизни бывают малые и большие миграции. У меня сезонный биологический ритм. Когда я заселяюсь где-то в гостиницу, я вью гнездо.

Какая я птица? До распространения фотографии орнитология была кровавой бойней. Европейские орнитологи отправляли в дальние края своих посланцев, чтобы те доставили им экземпляры каждого вида. Требовались тушки в хорошем состоянии, что делало отстрел птиц еще более сложным. Один такой ловец в Китае решил обратиться за помощью к местному охотнику, чтобы тот добыл ему какую-то особо редкую птицу. Охотник принес ее ощипанной. Только заметив досаду европейца, он понял, что тот просил поймать птицу не для еды. Китаец в себя не мог прийти.

Чтобы тушки не протухли во время долгого плавания, ловцы освоили искусство таксидермии. Они стали делать чучела птиц, изуродованных неумелыми выстрелами. Некоторые додумались создавать несуществующих птиц из частей тела разных видов, в зависимости от степени повреждения реальных экземпляров.

Между ними происходили обмены:

— У меня есть туловище шлемоносного казуара в приличном состоянии. У тебя не найдется под-

ходящих крыльев?

Орнитологи в Европе глазам не верили, получая фантастически несуразных птиц. Они щедро платили добытчикам и приглашали друзей в свои кунсткамеры полюбоваться на птицу-секретаря с крыльями колибри и когтями баклана.

Когда на смену браконьерству пришла фотография, бессмысленные убийства птиц наконец прекратились, а коллекционеры обнаружили жульничество.

Если я птица, то, наверно, одна из таких диковинок, созданных ловцами-обманщиками: шлемоносный казуар с крыльями трясогузки и когтями ушастого козодоя. Мне всегда немного не по себе, когда я позирую фотографу, но к моему дискомфорту неизменно примешивается благодарность: фотография послужит надежным доказательством моего существования, не нужно будет делать из меня чучело.

Как можно догадаться, я не останавливаюсь на достигнутом. Великая миссия птицы — совершенствовать в себе дар психопомпа. Пока что я пребываю на любительской стадии. Я еще не сказала свое последнее слово.

Невозможное возвращение

Никакой материк не станет дрейфовать по собственной воле. До тектонических разломов было одно море и одна суша, единственный остров, носивший имя Пангея. Чужбины не существовало: если долго идти, непременно придешь к своим.

Всякий отъезд ненормален. Мне ли не знать, я всю жизнь уезжала. Мои родители-дипломаты вечно кочевали с места на место, раз от разу сильнее травмируя потомство, которое увозили с собой. И вместо привычки я заработала аллергию на отъезды.

Подростком я поклялась себе, что, когда вырасту, найду идеальное место и больше оттуда не двинусь. В двадцать один год я решила, что этим местом-избранником будет Токио. Все кончилось крахом. Я вернулась в Брюссель в надежде, что он может стать мне домом. Боги отвергли эту очевидную мысль и послали меня в Париж. Я прибыла туда, чувствуя себя птичкой в стране котов. К своему удивлению, я всей душой полюбила опасный город. Брюссель остался как запасная позиция, и я влилась в парижскую суматоху.

Прошло двадцать пять лет, и моя любовь к Парижу победила. Ни в одном месте я не оставалась так немыслимо долго. Скажи мне кто-нибудь в детстве, что я стану оседлой парижанкой, ни за что бы не поверила. Это и значит влюбиться: перед вами внезапно открывается судьба, и вы бросаетесь в нее, не раздумывая, с упоением человека, махнувшего рукой на любые карьерные планы.

И все-таки иногда я уезжаю. Всегда с тяжелым сердцем, надо сказать. И по веским причинам, вроде работы. Не то чтобы у меня было сильно развито чувство долга, просто во мне подспудно звучит негодующий голос: “Ты живешь в Париже и хочешь куда-то ехать?”

Словно говоришь, что живешь в Эдеме и хочешь побывать в Аду.

Уточним: за последние двадцать пять лет я открыла для себя Италию, Амазонию, обнаружила, что существует другое великолепие и ради него стоило стронуться с места. Но все равно — даже перед такими идеальными путешествиями мне хочется пойти на попятный. Чтобы уехать, мне нужно преодолеть любовь не менее мощную, чем инертность.

Напоминание: инертность есть сопротивле-

ние предмета внешней силе, побуждающей его к движению. В словарях ее относят к “свойствам”. Позволю себе считать это неточным. Свойство — это что-то вроде гомеровских постоянных эпитетов. Инертность — вещь куда более серьезная.

Всякий отъезд представляется мне насилием. Хотя теперь эти отъезды куда более безобидные, чем в юности: ведь я уверена, что вернусь. Травма сильна настолько, что мое сумеречное нутро не верит в возвращение. Когда Пол Боулз утверждал, что истинный путешественник — тот, кто не уверен, что вернется[32], он явно имел в виду не мой патологический случай: я вовсе не переживаю эту неуверенность с метафизическим достоинством, я самым ужасным образом ее боюсь. Накануне отъезда мне не спится: я слишком поглощена прощанием со своей постелью, платяным шкафом, бытом.

В начале 2021 года Пеп Бени получила премию Нисефора Ньепса[33] за великолепную серию фо-

---

[32] Примечания: 32

Вольная цитата из романа Пола Боулза “Под покровом небес” (1949).

[33] Примечания: 33

Премия Нисефора Ньепса — ежегодная французская премия имени изобретателя фотографии, вручаемая с 1955 г. ассоциацией *Gens d’image*.

тографий “Упавший с небес” — рассказ о войне на Тихом океане с позиции Японии. Ей полагалась поездка: два билета на самолет туда и обратно и возможность выбрать любой межконтинентальный рейс “Эр Франс”.

Пеп Бени — важный человек в моей жизни. Эта невероятная женщина-фотограф стала одной из первых моих подруг во Франции, когда я приехала туда несколько десятилетий назад.

Пеп позвонила мне и сообщила великую новость:

— Я выбрала поездку в Японию, а летишь со мной ты.

Паника.

— Думаю, в пандемию это невозможно, увы.

— Знаю. Поедем, как только позволят обстоятельства.

Я выдохнула. В начале 2021 года казалось немыслимым, что когда-нибудь этому кошмару придет конец. Как и многие, я считала, что самоизоляция и все ей сопутствующее продлятся до скончания времен.

Мало-помалу тиски ковида разжались. Но даже когда опять стало можно летать на большие расстояния, двери Японии не открылись. Пеп сгорала от нетерпения.

В конце 2022 года Страна восходящего солнца согласилась вновь принимать иностранцев, пусть и с соблюдением самых строгих мер безопасности. Пеп тут же позвонила в “Эр Франс” купить два билета на март–апрель. Все рейсы без исключения оказались уже раскуплены бесчисленными туристами, три года ждавшими случая увидеть цветущие сакуры. Я решила, что боги на моей стороне.

— Март 2024-го? — предложила я.

— Ни за что! А в мае в Японии как?

— Сезон азалий.

Пеп мгновенно забронировала два билета туда и обратно. Итак, мы вылетаем 20 мая 2023 года и возвращаемся в Париж 31 мая.

— Лучше бы ты кого-нибудь другого позвала, — сделала я еще одну попытку.

— Поздно. И потом, я хочу, чтобы моим гидом была ты. Ты великая жрица, поющая хвалу тьме, это твой конек даже не только в романах, так что не отвертишься!

“Поделом мне”, — подумала я.

Последний раз я была в Японии весной 2012 года, на съемках фильма “Амели Нотомб, жизнь меж двух океанов”. Десять дней команда Лорелин

Аманьё[34] снимала меня в Киото, Кобе, Токио и Фукусиме. Это был репортаж о моих связях с Японией, прошлых и нынешних. Работа оказалась очень увлекательной, но и очень трудной. Тяжелее всего было испытывать сильнейшее волнение при встрече с моей няней под неотрывным взором кинокамеры. Зато — неожиданный плюс — я запретила себе расклеиваться.

С тех пор прошло одиннадцать лет, и не самых легких. Сперва пандемия, потом разразилась война в Украине. У меня умер отец. Я сама не понимала, какой мукой изгрызли меня эти тяготы.

“Вот вернешься в Японию и успокоишься”, — сказала я себе. Довод не сработал. Меня неотступно преследовала мысль, что я еду туда с Пеп. Нет: что я буду водить Пеп по японской земле. Я никогда не была гидом, никому ничего не показывала. Мне казалось, что быть гидом для Пеп — это ужасно. Она подруга разборчивая, мягко говоря. Но больше всего меня пугало, что я должна играть эту роль в Японии.

Япония — самая любимая моя страна, моя земля обетованная. От одного ее названия я впадаю в транс. Подобная любовь не делает мои познания

---

[34] Примечания: 34

Лорелин Аманьё (род. 1977) — французская кинодокументалистка; фильм об Амели Нотомб вышел в 2012 г.

глубже — и лишает всякого права на ошибку.

— Ты говоришь по-японски, — возражает Пеп.

Да. И нет. Я говорила по-японски. Знаю, что язык никуда не делся, просто погребен под завалами шлака. Во время последней поездки в Страну восходящего солнца я чувствовала, как в памяти каждый день тоннами всплывают пласты японского языка. Необязательно самые полезные в быту слова и обороты, но фразы, дорогие мне по романтическим причинам.

Японский для меня — язык-призрак. До пятилетнего возраста я бегло на нем говорила. Потом уехала, и он забылся. В двадцать один год я вернулась в Японию и выучила его заново; но выяснилось, что мой детский язык исчез не полностью. У меня была долгая, серьезная связь с юношей из Токио, и он упивался моей словесной кашей. А потом я работала в японской компании, где к моим оригинальным лингвистическим способностям относились все более недоверчиво, пока в один прекрасный день не последовал более чем загадочный приказ: “Забудьте японский”.

Я пыталась подчиниться. Кончилось это полным профессиональным провалом, который убедил меня перевернуть страницу. Я покинула Токио, где еще два года назад намеревалась жить.

Вернулась в Бельгию.

В двадцать пять лет я открываю для себя новую страну — Францию. Местные принимают меня тепло, я осваиваюсь. Японский исчезает из памяти, хоть и оставив по себе какой-то нелепый след, на который лучше не обращать внимания.

И вот, дожив до сорока пяти, я возвращаюсь во владения императора благодаря документалке Лорелин Аманьё, и выясняется, что я нарушила приказ компании: не забыла язык.

Японский ведет себя как прилив: чем дальше я отъезжаю, тем ниже уровень моря слов. Стоит вернуться, и вода поднимается, мой корабль снова на плаву.

Май 2023 года — время отлива. Не впервой, и все-таки мне страшно. А если ключ к языку потерян?

У Пеп есть одно достоинство: она не оставляет мне выбора.

— Тебе просто надо туда вернуться.

Она наседает.

Я представляю себе будущую поездку и перестаю спать. От простой мысли, что придется покупать билеты на поезд, у меня опускаются руки.

Сколько раз я покупала билет на поезд, пока

жила в Японии? Это было настолько легко, что я ничего не помню. Будь я одна, было бы не страшно, мысль о таком приключении даже привела бы меня в восторг. Но быть гидом для Пеп кажется мне делом непосильным.

“Не ври. Одна бы ты в Японию не поехала”, — говорю я себе. Это правда. Я превратилась в человека, который сам уже не соберется поехать в Японию. Слава Пеп, она меня заставила!

Суббота, 20 мая. Вылет из Руасси — Шарль-де-Голль в 13.00. Оказывается, полет стал длиннее. Раньше мы летели из Парижа до Осаки 11 часов. Теперь — 13 часов 30 минут. Из-за войны в Украине самолету нельзя лететь над Россией, как прежде. Облетаем ее с юга, через Турцию, Казахстан, Китай.

Пеп сидит рядом со мной и психует:

— Думаешь, я выдержу такой долгий перелет?

— Без проблем.

— У меня астма.

— У меня тоже.

— У меня аллергия на перьевые подушки “Эр Франс”.

Я отдаю подушки стюарду.

— Вот и все, вопрос исчерпан.

— У меня будет паническая атака.

Я хорошо знаю Пеп, у нее в самом деле может случиться приступ паники. И отвечаю так, как нужно:

— Пока еще не поздно сойти с самолета и отменить поездку.

Какая-то часть меня надеется, что она согласится. Пеп делает глубокий вдох:

— Нет. Я всю жизнь хотела съездить в Японию. Я соберусь.

— Все будет отлично, вот увидишь.

Самолет взлетает. *Alea jacta est*[35].

В полете мне обычно не хочется ничего делать. Если место у иллюминатора, то смотрю не отрываясь на небо и землю. Если нет, то просто бездельничаю. Читать? Но сосредоточиться все равно невозможно. Писать? Только на рассвете. И вообще, зачем я оправдываюсь? Жизнь не так уж часто дает мне возможность прохлаждаться.

— Ты чем-то занята?

— Ничем.

— Тогда займись мной.

— В смысле?

— У меня вот-вот начнется паническая атака, — говорит Пеп. — Помоги мне.

---

[35] Примечания: 35
Жребий брошен *(лат.)*.

Я понятия не имею, как себя вести, и начинаю болтать, что в голову взбредет:

— В самолете яблоку негде упасть. Что-то невероятное. Жалко, что мы сидим не у иллюминатора. А то бы я тебе показала Мо, это полный восторг. Париж — Осака, ясно, что народу полно. На рейсе Париж — Мо тоже полный комплект. На самых невероятных рейсах, Мо — Вьерзон, Компьень — Вандёвр, ни единого свободного места. Тайна, покрытая мраком: куда летят все эти люди? Почему им не сидится на месте? Разве дома не лучше? Что такого во Вьерзоне, чтобы туда летать? А Вандёвр, разве он не такой же унылый, как Компьень? Не нам их судить, конечно, ведь мы потому и возмущаемся, что летим вместе с ними из Мо во Вьерзон. “Ну да, но мне-то действительно нужно, у меня…” И тут вдруг выясняется, что причина не стоит выеденного яйца. Поэтому ездить — дело опасное, оно обнажает пустоту существования.

— Ты что несешь?

— По крайней мере, в самолете есть чем заняться. Видишь, тут экран, можно фильм себе выбрать, например.

Пеп завороженно смотрит, как я настраиваю монитор. В списке доступных фильмов есть

“Воспоминания о Париже”[36]. Я зависаю на этом названии и синхронизирую наши экраны.

— Посмотрим вместе, ладно?

То, что нужно. Фильм кошмарный, про теракт 13 ноября 2015 года. Подруга тревожится за героиню в исполнении Виржини Эфира и забывает собственный страх. Миссия выполнима.

От иллюминатора нас отделяет симпатичная португалка, она спит. Я беру инициативу в свои руки и поднимаю шторку.

Я только что закончила писать: теперь утро может заявить о себе. В моей жизни, надо признать, рассвет часто случается только в уме. Тем сильнее мое потрясение сегодня, 21 мая, когда я вижу настоящую зарю — момент, который я, как ни парадоксально, вечно пропускаю, погребенная под своей писаниной.

Экран показывает, что мы летим над Южной Кореей. Я человек стопроцентно аналоговый, не цифровой, но *GPS* ценю, особенно когда масштаб крупный: сознавать, что крошечный самолетик летит над Азербайджаном или Сычуанью, — это

---

[36] Примечания: 36

“Воспоминания о Париже” — фильм французского режиссера Алис Винокур (2022), основанный на событиях 2015 г. в Париже — террористической атаке на концертный зал “Батаклан”, стадион “Стад де Франс” и несколько ресторанов.

впечатляет. Не вижу ничего абсурдного в том, чтобы двенадцать часов кряду следить за картинкой, если сидишь не у иллюминатора.

Соседка спит как убитая, можно через нее перегнуться, не потревожив. Так я могу перевести маршрут *GPS* в его аналог на местности; редко когда получается это делать в ту же секунду.

После Кореи начинается море. Сердце колотится как бешеное. Я выключаю экран, теперь мне хочется иметь дело только с реальностью. По-прежнему налегая на соседку, я вглядываюсь в иллюминатор с жадностью паломника.

Вдруг показывается полоска берега. И я начинаю стенать сдавленным от волнения голосом:

— Япония! Я ее вижу! Вон она!

Слезы радости.

— Ты похожа на корсиканца из Астерикса, когда он чует запах родного острова[37], — хмыкает Пеп.

Она права. Как можно было настолько бояться этой поездки, если я от одного вида японской земли теряю голову?

Я отодвигаюсь, чтобы Пеп тоже могла полюбоваться. Пусть насмешничает сколько хочет,

---

[37] Примечания: 37

Эпизод из 20-го выпуска комикса об Астериксе и Обеликсе, “Астерикс на Корсике” (1973).

она явно потрясена не меньше моего. Для нее все будет впервые, я ей немножко завидую. Какое, должно быть, чудо — знакомиться с Японией уже взрослой.

Если подумать, своим отвращением к отъездам я во многом обязана этой стране. Первый в моей жизни отъезд был как раз из Японии, в пятилетнем возрасте. Эта насильственная разлука нанесла мне травму. Впоследствии я пережила множество тяжелых отъездов, причинявших мне боль, и всегда ощущала их как повтор этой первой трагедии — прощания с Японией, идеальным архипелагом, где мое существование имело смысл.

В свое время мы переехали из Японии в маоистский Китай, иначе говоря, в ад. Но, думаю, даже если бы мы променяли ее на Киферу, я страдала бы не меньше. Неважно, куда мы направлялись. Мы покидали Японию. Этих слов достаточно.

После этого первоначального разрыва я вернулась в Японию, попыталась обосноваться там навсегда. Не вышло, в конце концов я сбежала. Неудача нисколько не повлияла на мою любовь: я по-прежнему была без памяти влюблена в нее. Наверное, эта основная схема определила для меня все, что случилось потом. В любви для меня

результат ничего не значит. Разлука не имеет ничего общего с отказом или с охлаждением моего пыла.

Должно быть, Пеп читает мои мысли, потому что вдруг говорит:

— Только, пожалуйста, не начинай опять со своей ностальгией, а?

— Ты права.

В ностальгию я уже впадала, даже слишком. Это моя застарелая патология. Значит, надо ей сопротивляться. Не пора ли взглянуть на Японию по-новому, без одержимости тем, что я здесь пережила?

Паломничество по следам своего японского прошлого я совершала по крайней мере дважды. Пеп хотела, чтобы я сбросила счетчик. Хороший план. Только получится ли?

Приземление в Осаке каждый раз пробуждает один и тот же страх: самолет пикирует прямо в море, все спрашивают себя, не задумал ли пилот коллективное самоубийство, посадочная полоса появляется в последнюю секунду. Когда мы садимся, пассажиры шумно выдыхают.

Формальности занимают как минимум вдвое больше времени, чем раньше. Хоть мы и заполнили заранее все анкеты, наши ответы никому

не нужны. Ублажив наконец аэропортовских чиновников, мы садимся на поезд до Киото.

Это электричка *Hello Kitty*. Я не верю своим глазам. Пеп в восторге. Мы заходим внутрь: можно больше не видеть конфетно-розовое оформление и вездесущую Китти. Поездка длится больше часа, время пролетает незаметно. Подруга внимательно рассматривает пригороды Осаки, а потом и пейзажи Кансая, скорее городские, чем сельские, по которым мы едем в бывшую столицу. Я понимаю ее изумление, ей все кажется значимым и полным смысла.

Сегодня воскресенье, время около полудня. Может, поэтому на улицах пусто? Ни машин, ни людей. Иногда взгляд цепляется за рисовое поле, мелькнувшее между зданиями.

В Киото мы не без труда находим традиционную гостиницу, которую забронировала Пеп. Заселиться в этот *рёкан* нам пока не разрешают, слишком рано. Оставив чемоданы на ресепшене, мы отправляемся куда глаза глядят.

Сухой запой: снова оказаться в городе, где бывал в детстве, и запретить себе ностальгировать. Киото почти не изменился, только я забыла его карту. Представьте — вы возвращаетесь в Париж, помните все места, но не помните, где они на-

ходятся: “Я бы с удовольствием сходила в Лувр, но не знаю, где он”. На меня со всех сторон летят бездомные эмоции.

Пеп останавливается у реки на границе Гиона[38]. На другой стороне забегаловка, под окном стоит цапля, ждет кормежки. Хозяйка не спешит, иногда протягивает ей объедки. Зрелище завораживающее. Нам приходит в голову, что голенастая птица недаром выбрала именно это заведение.

— Я хочу есть, — говорит подруга.

Я знаю Пеп четверть века. Когда она хочет есть, дело плохо. Если обед запоздает, последствия могут быть ужасны. Мы переходим реку и не сразу, но отыскиваем потайной вход в ресторанчик.

Хозяйка встречает нас так, словно ждала всю жизнь. Пеп зачарованно взирает на японские церемонии. Едва мы сели, как нам несут чай и ароматизированные салфетки. “Это неучтиво, но я вас обслужу”[39], — говорит хозяйка моей подруге, которая, к счастью, ее не понимает.

---

[38] Примечания: 38

Гион — старинный квартал Киото; в XXI в. известен главным образом как место проживания и работы гейш.

[39] Примечания: 39

В классических японских ресторанах обслуживание происходит максимально незаметно для посетителей.

Хозяйка объясняет, что может предложить нам только один обед, но если мы не против, сожалеть нам не придется. Я с радостью соглашаюсь, и нам несут одно за другим самые изысканные блюда. Благослови Господь цаплю, она указала нам лучший ресторан в Киото!

Та самая цапля за окном начинает проявлять нетерпение. Пеп хочет дать ей поесть, но хозяйка ее останавливает:

— Я вас обслужу и отдам ей остатки. Не балуйте ее, она и так получает больше, чем надо.

Я перевожу. Не все слова понятны, но общий смысл улавливаю. К тому же чем больше я лакомлюсь на этом пиру, тем больше вспоминаю японский. Хозяйка спрашивает, откуда я знаю “кансай бэн” — местный диалект, ведь у меня и вправду здешний акцент. Я рассказываю про свое детство, про няню.

— А где вы жили?

— В Сюкугаве.

— И я из Нисиномии! — ахает она.

Значит, мы жили по соседству и теперь болтаем как соседки. Пеп спрашивает, про что у нас разговор. Раз ностальгировать она мне запретила, я выдумываю, что про политику.

Мы — последние дневные посетители. Так что

нам позволено наблюдать, как обедает цапля: ей достаются роскошные объедки. У нее губа не дура, она блаженствует. Смотреть, как она ест, — одно удовольствие.

В гостинице мы заселяемся в свои номера в традиционном японском стиле. Я снова вдыхаю чудесный запах свежих татами. Подруга моя, уверившись, что я полноценный билингв, задает через меня тысячи вопросов отельеру: а футон с защитой от клещей? а подушка перьевая? и т. д. и т. п. Вместо “пылевой клещ” я переделываю на японский лад английское *bedbug*[40]. При мысли, что мы могли заподозрить у него подобных постояльцев, отельер меняется в лице. Мы на грани международного скандала, я кое-как восстанавливаю гармонию.

Мы выходим прогуляться. Вечереет. Ностальгия — чувство сумеречное, и моя все растет. Оказывается, держать ее при себе, в груди, очень приятно. Киото, конечно, уникальный город, но для меня он прежде всего родное место, и я растроганно смотрю, как в домиках зажигаются лампы.

Ноги несут нас к горам, окружающим город, и

---

[40] Примечания: 40
Постельный клоп *(англ.).*

перед нами вырастает храм; судя по бесчисленным изображениям, он посвящен кроликам. Пеп, ревностная кроликофилка, только ахает и охает.

— Ну хоть в одной стране кролик занимает то место, какого заслуживает! — призывает она меня в свидетели.

Пока она фотографирует десятки статуй зайцеобразных, я с головой укутываюсь в кокон ностальгии. Уже совсем темно, нас освещают только фонари святилища, и время исчезает. Мне четыре года.

К нам никто не подходит, не говорит, что пора уходить. В котором часу закрывается храм? Похоже, в кроличьем храме можно провести всю ночь, а Пеп только того и надо. Японцы — люди настолько почтительные, что даже не представляют, какие извилистые планы могут поселиться в европейском мозгу. Отказаться от этой мысли нас заставляет только присутствие других европейцев.

Я веду подругу в какую-то едальню, которую приметила по пути. Тут подают настоящие *окономияки*[41]. Несмотря на свое название, “окономияки”, то есть буквально “нечто жареное на

[41] Примечания: 41

Окономияки — японская уличная еда, лепешка из муки, капусты и яиц с разнообразными ингредиентами (мясо, рыба, овощи, морепродукты).

ваш почтеннейший вкус", блюдо это самое что ни на есть простонародное. В Европе оно все больше входит в моду, отчего возникает недоразумение: все считают, что отведать его — высший шик, а на самом деле это почти базарная еда. Притон я откопала низкопробный, воняющий прогорклым салом; я в восторге заказываю два *окономияки* и две кружки местного пива. Хозяйка несет их без промедления, и я наслаждаюсь: точь-в-точь *окономияки,* какие жарила мне на кухне моя няня Нисио-сан.

За нашей спиной слышны громкие пропитые голоса. Физиономия у Пеп кислая, заведение ей явно не по вкусу.

— В Японии тоже есть хрипатые горлопаны. По-моему, тебе полезно это знать, — говорю я.

— Ок, теперь я это знаю. Можешь больше не таскать меня по таким местам.

Усталость от поездки берет свое. Мы возвращаемся в *рёкан,* я падаю на матрас. Просыпаться через несколько часов и писать тяжко: в этом смысле джетлаг — штука мучительная. С прелестной бумажной лампой дело идет куда лучше. А тут и солнце встает.

В восемь утра я облачаюсь в гостиничную юкату и иду к Пеп: она заказала в номер тради-

ционный завтрак.

Подруга устроилась за низеньким столиком, а восхитительная молодая японка расставляет перед ней черные и красные лаковые мисочки. Пеп это нравится явно больше, чем вчерашняя забегаловка. Я сажусь напротив, девушка снимает с мисок крышки.

Пеп пробует вяленую рыбу, баклажаны с пастой мисо, маринованные грибы, свернутый трубочкой омлет, корни лотоса, суп из водорослей. Она потрясена, восторгается каждым блюдом, а девушка наливает ей чай.

Для меня это отнюдь не первый японский завтрак, он отменный, не отрицаю, но мне слегка не по себе. Я жую маленькую соленую сливу, терпеть ее не могу, но путешествие во времени срабатывает: точно так же я терпеть ее не могла и раньше. Девушка спрашивает, почему я скривилась, я отвечаю:

— *Сиокара сюгимасу.*

Устойчивое выражение, означающее “пересоленое”. Буквально: “слишком пряное от соли”, свидетельство тому, что в японском соль считается пряностью.

Пеп оказывается большей японкой, чем я: она без ума от всего. Я про себя надеюсь, что в обед

или вечером мы найдем что-нибудь получше. Вяленая рыба с утра пораньше — слишком сильное вкусовое ощущение.

Дальше встает обычный для всех, кто приехал в Киото, коварный вопрос: с какого храма начнем? Их здесь без числа, один великолепнее другого. Я предлагаю начать с ближайшего — Киёмидзудэра[42]. Мы идем туда пешком, по тихим улочкам. Но на подходе оказывается, что храм окружен целым лабиринтом сувенирных ларьков. В 1989 году такого не было. К счастью, внутри священной ограды все осталось неизменным.

У Киёмидзудэра есть частый в этом городе козырь: он возведен на склонах горы и замечательно нависает над профанным миром. Тому, кто его осматривает, везет вдвойне: за спиной у него гора, а впереди — панорамный вид. Столь выгодную позицию усиливает находящийся рядом водопад.

Это был любимый отцовский храм. Последний раз мы ходили туда вместе. Отцу тогда было под пятьдесят, как мне сейчас. Помню, с каким волнением он на него смотрел. Почти молча, но на лице его отражалась бездна, словно эта

[42] Примечания: 42

Киёмидзудэра — один самых популярных буддийских храмов Киото, основанный в VIII в.; название означает “Храм чистой воды”.

красота его уничтожала: широко открытые глаза, страдальческий вид. Кажется, у меня похожее выражение лица, когда я чем-нибудь любуюсь.

В 1989 году мы с ним были здесь в августе, в сезон дождей, стояла изнуряющая жара, влажность не давала дышать. В мае 2023 года на улице двадцать восемь градусов: жарковато для весны, но погода приятная, тем более что никакой духоты еще не чувствуется.

Вторая половина мая — время школьных экскурсий. Западных туристов очень мало, только стайки японских подростков в школьной форме в сопровождении одного или нескольких учителей. Очень приятное соседство. Ученики смешливые, но очень вежливые, почтительно смотрят все, что им показывают.

— Я, когда училась в коллеже, ездила с классом в Шамбор, — сообщает Пеп.

— И вы вели себя как эти подростки?

— Не совсем. Галдели, выпендривались, кто самую большую чушь скажет. Хотя по сравнению с нынешними юными французами мы были ангелы с крылышками.

Я останавливаюсь послушать одного учителя, он что-то излагает с умным видом перед смирными учениками и величественной панорамой.

Понимаю только обрывки фраз:

— Когда мы что-то созерцаем, самое важное […], это вновь обрести гармонию с самим собой.

Подростки слушают, затаив дыхание. Я перевожу Пеп, та бурно восхищается:

— Какой потрясающий учитель!

Если и осталась на свете страна, где *сенсей* занимает подобающее ему место, то это Япония. Звание это по-прежнему окружено ореолом абсолютного авторитета. Настолько, что его трудно перевести. *Сенсей* против учителя — все равно что гора Фудзи против самой высокой точки в Бельгии.

В кафешке в ограде храма я приобщаю подругу к радостям *кори* — колотого или зернистого льда, политого сиропом на выбор. Я предлагаю *кори* с матча. Нам приносят две гигантские креманки измельченного льда, пропитанного церемониальным чаем, по такому случаю с сахаром. Прямо две маленькие дзэнские копии воображаемых гор. Мы вгрызаемся ложечками в колотый лед, околдованные неповторимой зеленью матча.

— Бесподобно, — изрекает Пеп.

— Самое лучшее прохладительное.

Становится жарко. Мы возвращаемся в *рёкан*, поваляться часок на татами. Хозяйка спрашивает,

не угодно ли нам вечером отведать традиционный ужин. Мы соглашаемся.

Мы идем на другой конец города взглянуть на жемчужину — Рёан-дзи[43], дзэнский храм *par excellence*. Я не стану пытаться его описать, он описан бессчетное количество раз. Рёандзи — вершина эстетики *сибуй*, что можно перевести как “терпкий”. Такая терпкость взывает к незримому, необработанному, к тому, что разлито в природе и не бросается в глаза. Носить коричневую накидку на кимоно, есть горькую хурму, пить матча из кружки с острыми краями, стареть, покрываясь морщинами, как древесная кора, изгнать все звенящее и блестящее из речей и поступков значит идти путем *сибуй*, венца хорошего вкуса.

Задуматься о саде Рёандзи — это присмотреться к гипотезе жизни, которую, наверное, не примешь, но сама вероятность которой очищает душу. В самом деле, можно сбросить с себя все и достичь редчайшей терпкости, терпкости ума — той пустоты, той идеальной эхо-камеры, когда наконец ощущаешь мир таким, каков он есть, не загроможденным нашей внутренней

[43] Примечания: 43

Рёандзи — “Храм покоящегося дракона” (XV в.) со знаменитым садом камней.

смутой, которую мы в своем тщеславии считаем мыслью. Пустоту в нас стоило бы возделывать, как этот сад.

Пеп замечательно умеет восхищаться. Она садится на берегу каменного моря, смотрит и молчит. Мы не обменялись ни единым словом, я это ценю. Школьных экскурсий под вечер меньше, но нам повстречались несколько классов, они тоже хранили молчание.

Одна моя подруга-немка признавалась, что заплакала, увидев Рёандзи. И добавила: “Это само совершенство”.

Мы возвращаемся пешком. Идти далеко, это хорошо. Шагать в сумерках по Киото легко и просто. Машин немного, никто не собирается наезжать на пешехода, явившегося из Парижа полюбоваться городом. Пеп ведет нас к *рёкану* по навигатору на айфоне.

Киото — город средней величины и по этой причине попал в американский список городов для испытания первых атомных бомб в августе 1945 года. Его название вычеркнули только потому, что военный министр провел здесь медовый месяц и своими глазами видел окружающее вели-

колепие. Слава богу, г-н Стимсон[44] отправился в свадебное путешествие не в Акапулько.

В гостинице нам накрывают ужин в номере моей подруги. “Дзэнский пир”? Звучит как оксюморон. Бульон из орхидей, горшочки с горными овощами, рыба сырая и рыба вареная — блюд столько, что наши палочки в замешательстве повисают в воздухе.

Во второй половине дня очень парило, сейчас начинается гроза. Окна открыты, мы вдыхаем запах дождя. Достойная приправа к такой еде.

Я прощаюсь с Пеп и иду спать. Лежу на футоне, слушаю ливень. Наслаждение мое не уступает усталости, и я проваливаюсь в сон.

Посреди ночи ко мне в номер влетает Пеп:

— Я слышу какой-то шум.

— Это гром, иди спи.

— Нет, там голоса.

Пеп патологически боится ночного шума. Полусонная, я тащусь в номер подруги. Ничего не слышно.

— Ты что, мне не веришь? — негодует она.

— Верю, конечно.

— Сходи со мной на ресепшен.

---

[44] Примечания: 44

Генри *Стимсон,* военный министр США, лично убедил президента Трумэна отказаться от уничтожения древней столицы Японии.

Закутавшись в юкаты, мы спускаемся в холл; в роли ночного сторожа — сам хозяин гостиницы. Время час ночи. Хозяин узнает женщин, обвинявших его в покровительстве *bedbugs,* и хмурится. Он еще не знает, что его ждет. Я перевожу слова Пеп как можно дипломатичнее.

— Моя подруга слышит у себя в номере шум. Кто-то разговаривает совсем близко.

— Я не отвечаю за то, как ведут себя в окрестных домах.

— Подруга говорит, что шумят в вашем заведении.

— Все мои постояльцы спят.

— Моя подруга хотела бы перебраться в другой номер.

При каждом моем слове отельер отшатывается. Это он еще не знает, насколько я смягчаю напор Пеп: у нее любая фраза — объявление войны. Яблочко от яблони недалеко падает — я веду дипломатические переговоры на высшем уровне.

Хозяин, на грани нервного срыва, ведет нас в свободный номер. По дороге Пеп мне заявляет, что ее не проведешь:

— Я высказываю этому типу все, что о нем думаю, а ты переводишь совсем не то, я же вижу!

— Японский язык совсем другой, — отвечаю я

сладким голосом. — Например, “жулик несчастный” переводится примерно как “странная договаривающаяся сторона”.

— Да-да, держи меня за дуру!

Новый номер оказывается хуже, чем первоначальный.

— Он надо мной издевается! Ноги моей не будет в этой конуре.

Я перевожу так:

— Моя подруга находила больше очарования в том номере, в какой вы ее поселили сначала. Не могли бы вы показать еще одну комнату, если вас не затруднит?

Сцена повторяется еще дважды. Хозяин заявляет, что свободных номеров больше нет.

— Ну и ладно, — говорит Пеп. — Одеваемся, берем вещи и переезжаем в другую гостиницу.

— В полвторого ночи? — возражаю я.

— И что?

Я набрасываю на себя одежду, и вот мы уже идем по улице Киото посреди ночи. Довольно занятный опыт. Нам попадается несколько пугливых гейш, живых, не сказочных.

Мы выискиваем гостиницы, нас встречают с величайшим изумлением. В этой стране главное — вежливость: нам говорят, что в такое время

заселяться нельзя. Мы настаиваем, и нам отказывают еще решительнее.

Два часа ночи, дождь поливает с удвоенной силой, я никогда в жизни не чувствовала себя такой жалкой и несчастной. Сколько нам еще бродить по ночному Киото и получать в каждом отеле от ворот поворот?

Наконец Пеп говорит:

— Ладно, дело дохлое. Давай вернемся в *рёкан*.

Я не смею кричать “ура”. Отельер, увидев нас, саркастически произносит:

— Что, не нашлось вам другого номера?

— Скажи ему, чтобы катился в…

— Мы очень рады видеть вас снова, уважаемый господин.

Я провожаю подругу в ее изначальный номер. Она прислушивается:

— Шума больше нет. Давай ложиться спать.

Я растягиваюсь на татами. Половина третьего, спать мне остается полтора часа. Я измотана, верчусь и так и сяк, нервное возбуждение не дает уснуть. Солнце в Японии встает раньше, чем где бы то ни было, и я встаю вместе с ним. Крепчайший чай стирает усталость. Время писать — и воспоминания этой странной ночи отходят на второй план.

Я прихожу к Пеп позавтракать по-японски и вижу, что юная горничная обращается к ней с придыханием. Чуть ли не кладет еду ей в рот, как гейша. Перевожу ее намеки и мало-помалу понимаю, что произошло: должно быть, хозяин наговорил про нас персоналу всяких ужасов, особенно про ту, что командует. Нетрудно догадаться, что этот человек не пользуется особым расположением тех, кого держит за прислугу. Видимо, ему впервые кто-то надерзил. Если к тому же учесть, что Пеп — иностранка и на вид ей не дашь и тридцати, можно себе представить, в какой ярости был этот деспот. Отсюда и ликование горничных.

Все это я объясняю подруге, и она приходит в восторг:

— Шикарно, в следующий раз еще ему добавлю.

Следующему разу так и не суждено было случиться. Видимо, хозяин велел предупреждать, когда эти две “француженки” будут приближаться к ресепшену, потому что с тех пор мы имеем дело не с ним, а с девушками, боготворящими Пеп.

Дождь перестал, погода стоит идеальная, солнечно и прохладно. Мы идем смотреть Нидзё,

древний императорский дворец[45]. Меня в очередной раз поражает, как Пеп умеет восхищаться. Она застывает в экстазе перед картинами и напитывается их великолепием до состояния транса. Осмотр дворца в таком ритме занимает два с половиной часа.

Паркет Нидзё издает знаменитые соловьиные трели, больше напоминающие скрип цикады, чем что-нибудь другое. И все-таки этот особенный звук, который производят наши шаги, — частица волшебства, царящего во дворце.

Мы запрыгиваем в такси:

— К Золотому павильону, пожалуйста.

Подруга моя явно достигла тех высот, когда пора его смотреть. При виде Кинкакудзи ее бросает в дрожь.

— Монах из книжки Мисимы[46] прав, его надо сжечь, — произносит она.

Я созерцаю Золотой павильон, кажется, шестой раз в жизни. Нет ничего лучше, чем смотреть

---

[45] Примечания: 45

Замок *Нидзё* (XVII в.) — изначально укрепленная резиденция сёгунов рода Токугава; в XIX в. передан во владение императорской семье и переименован во дворец.

[46] Примечания: 46

Роман Юкио Мисимы “Золотой храм” (1956) основан на реальном событии: в 1950 г. психически неуравновешенный молодой послушник сжег Золотой павильон XIV в. Впоследствии он был восстановлен.

на него в обществе восторженной Пеп. Эйфория заразительна, *contact high* срабатывает, мы обе раздавлены этим избытком красоты и хотим его поджечь.

К тому же роман Мисимы — наш тайный пароль. “Золотой храм” стал для нас обеих чем-то вроде молитвенника. Я прочитала его в тринадцать лет, Пеп — в двадцать три, и мы, каждая по-своему, увидели в нем способ обращения с любым величием. Мы решили, что пиромания здесь вполне уместна.

С того места, где мы стоим, весь Кинкакудзи пылает на солнце. Его великолепие — провокация. Довольствоваться его созерцанием унизительно. Хочется стать его частью, но это невозможно, и потому его уничтожают. “В ненависти к красоте”, уточняет Мисима. Все лучше, чем равнодушие.

Золотой феникс на крыше устремляется сквозь время, опять-таки по Мисиме. Храм это доказал. Уничтоженный пламенем в пятидесятых годах, он отстроен заново в той же технике: в Японии это считается единственным условием вечности. С тех пор пожар выглядит мелочью, не заслуживающей упоминания.

Пеп фотографирует Золотой павильон на телефон.

— С моей стороны это преступление против профессии, — замечает она.

Я понимаю. Каждому свой костер. Экстаз ее при этом нисколько не слабеет. Прерывать этот синдром Стендаля[47] было бы чистым безумием. Оргия продолжается, я веду подругу в Серебряный павильон.

И снова мы реагируем вместе, все сильнее и сильнее. Нас больше не смущает дрожь и клацанье зубов. Расширенные зрачки могли бы навлечь на нас подозрения, если бы такое поведение не было вполне очевидным.

— Я уже никогда не буду прежней, — говорит Пеп.

На выходе из ограды храма я вижу начало дороги Философа. Указатель только по-японски: никому не пришло в голову облегчить осмотр иностранцам.

Последний раз я поднималась по тропе Философа с отцом в августе 1989 года. Стояло такое пекло, что мы больше потели, чем философствовали. Сейчас май 2023-го, упоительная весна, и мы с подругой вступаем на знаменитую дорогу

---

[47] Примечания: 47

Синдром Стендаля — психогенная реакция, вызванная сильным эмоциональным переживанием красоты; другое название — флорентийский синдром.

на пределе радости. Не это ли есть вершина философии?

Мы вышли из времени, мы с начала времен шагаем вдоль реки. Достигнув конечной точки, не раздумывая, выбираем единственно возможное для философа продолжение — идем все равно куда. Мы в Киото, и мы идем. Нам больше ничего не нужно. Улочки ведут нас, город предлагает довольно простора, чтобы нам блуждать по нему *ad libitum*[48].

Ноги инстинктивно ведут нас не в центр, а на окраины. Нам попадается зоопарк.

— Зоопарк в Киото? Я и не знала, что такое есть, — говорю я.

Мы заходим. Самый обыкновенный зоопарк. Ничего особенно плохого. Унылый, как любой зоопарк. Наше упоение разрушено.

Я объясняю Пеп, что это неважно, что радость разверзает бездны, что мы тут не задержимся. Подруга упрямится до маразма: зоопарк в Киото? А почему не бункер в Венеции?

Я тащу ее к выходу. Пеп все еще злится. Я пытаюсь завести разговор на другую тему — невозможно. Ярость находит дорогу легче, чем экстаз:

---

[48] Примечания: 48
По желанию, по собственному усмотрению *(лат.)*.

мы приходим в *рёкан*. Хозяин приветствует нас с преувеличенной вежливостью, я подыгрываю и отвечаю еще любезнее.

— Этот тип похож на сторожа в зоопарке, — говорит Пеп.

Чтобы отвлечься, я предлагаю сходить в общественную баню.

— Чем тебя не устраивает ванная в номере?

— Ничем, просто новые впечатления.

— Мы сегодня не обедали. Я есть хочу.

Мне знаком этот зов, с ним нельзя не считаться. Когда подруга хочет есть, ее дурное настроение может стать опасным. Мы снова выходим на улицу, ищем, где поужинать.

— Как тебе эта *собая,* лапшичная?

— А получше что-нибудь нельзя?

— Смотри, вон ресторан, выглядит неплохо.

— Как мало тебе надо.

Порочный круг: если Пеп хочет есть, она видит все в черном цвете, и чем дальше, тем больше; никакая еда ее не устраивает. На то, чтобы ей угодить, у нас уходит целая вечность. Спустя два часа она наконец согласна сесть за столик в какой-то харчевне, и нам подают суп с лапшой удон.

— Не фонтан, — говорит она, жадно глотая ложку за ложкой.

Уняв аппетит, мы расходимся по своим номерам. Я сплю как убитая.

Утреннее чудо. Сон смыл черноту, нас снова манит будущее. Мы садимся на местную электричку и едем в Нару.

Вряд ли кому-то придет в голову искать в этих заметках сведения о Наре, так что я избавлю себя от расхожих суждений. Пеп в таком восторге от знаменитых оленей, что забывает про вчерашний зоопарк. Погода великолепная, мы поднимаемся к Тодайдзи[49]. Я и забыла, какой он громадный.

Пеп — просто невероятная эхо-камера: она вибрирует, как местный барабан, отражая ударную волну, и делает ее стократ сильнее. Я ощущаю Тодайдзи через увеличительное стекло ее эмоций. Вместе мы образуем ускоритель экстаза устрашающей силы.

Храм взбирается по контрфорсам горы, мы поднимаемся вместе с ним. Карабкаясь вверх, вырастаешь над собой, теперь мы на “ты” с богами, и они охотно нам отвечают. Чем больше ступеней остается внизу, тем больше хочется

[49] Примечания: 49

Тодайдзи — храм VIII в. (современный вид приобрел в 1709 г.) с 15-метровой статуей Будды. Считается самым большим деревянным храмом в мире. На его территории находится олений парк.

лезть еще выше.

Мы добираемся до самых высоких уступов Тодайдзи и делаем остановку. Вид отсюда захватывающий: Нара, другие горы. Мы садимся выпить чаю. Идеально.

— Хочу остаться здесь навсегда.

Мы здесь навсегда. Зачем куда-то идти? Звучит храмовый колокол, эхом отдаваясь в моих боках.

Что будет большей наглостью — говорить “мы” или “я”? Ведь приписывать некое чувство другому, а тем более себе, нескромно?

В такие минуты я жалею, что не курю. По-моему, это было бы более сильной формой присутствия. Впрочем, курить здесь запрещено, удачно получилось. Вечная надпись, *Tabako o_ suwanai,* “Не сосите табак”. К сосальщикам сигарет тоже относится.

Пеп тоже не курит. Общее у нас с ней одно — астма, у меня умеренная, у нее зверская. Для Пеп одна затяжка равносильна попытке самоубийства.

Но воздух чист, мы дышим полной грудью. Гипервентиляция — самое доступное изменение сознания. Чем больше я насыщаюсь кислородом, тем больше наш холм кажется мне тем самым

абсолютным[50] местом на земле.

— Хочу остаться здесь навсегда.

Когда непонятно, кто говорит, ты сам или другой — или никто, — это отличный признак. Происходит что-то близкое к Богоявлению.

Я запрокидываю голову и упиваюсь кусочком неба.

— Пора двигаться, — говорит Пеп.

Как же она уверена в себе! Она права, епифанию мы несем в себе. Спуск — дело не легкое и не быстрое, лестница — это дзэн-медитация, она учит бдительно смотреть под ноги.

Нара — город маленький, провинциальный. Время обеда мы пропустили. Однако какой-то уличный кашевар предлагает нам миску риса с сырым яйцом. Я соглашаюсь с радостным криком, вдруг осознав, что мечтала о такой еде. Пеп с отвращением смотрит, как я разбиваю яйцо и вмешиваю его палочками в раскаленный рис. Последний раз я удостоилась такого пира в пятилетнем возрасте. Мне все так же вкусно, я постанываю от удовольствия.

---

[50] Примечания: 50

В японском буддизме считается, что истинная природа мира абсолютна и ничем не обусловлена, тогда как воспринимаемый нами обычно чувственный мир иллюзорен. В данном случае Амели кажется, что она видит истинную, абсолютную природу этого холма.

— Немного же тебе надо, — бросает подруга.

— Я так не считаю.

Продавец, похожий на выходца из Кансая, одобрительно смотрит, как я ем. Мне хочется расцеловать его в добродушные щеки.

Мы идем смотреть пагоду с колоколом. Мозг мой становится невербальным, название в нем не отпечаталось. Но когда я снова вижу пагоду, то вспоминаю ее так, словно была здесь накануне. Та самая поездка с отцом в августе 1989 года, отец называл ее нашим паломничеством.

Подходящее слово: в 1989-м мы шли по следам 1972-го, вылазка была посвящена ностальгии, кардинальной добродетели отца, которую я от него унаследовала в полном объеме. Если уже в 1989-м цель была настолько сокровенно-личной, стоит ли удивляться, что в 2023-м я ищу отметины и 1989-го, и 1972-го?

От мысли, что я живу так долго, кружится голова. Все было так давно. В 1972-м я первый раз вошла в пагоду за руку с отцом. Вот он, прообраз нашей поездки. Хуже, что я это помню. И еще того хуже: в 1972-м я уже была во власти ностальгии — не по какому-то предыдущему приезду, а по тогдашнему настоящему. Мне было пять лет, я знала, что скоро покину Японию, и это заранее

разрывало мне сердце. И отцу тоже. Мы с ним изобрели превентивную ностальгию, романтически-скорбную идею, своего рода прививку, под действием которой земля, обреченная стать объектом ретроспективной ностальгии, лишь разрастается в душе.

Папа, что с нами такое? И зачем ты мне все это завещал? Что мне делать со щупальцами эмоций? Знала бы я, сколько продлятся мои муки!

Я принимаю единственно возможное решение, делающее эту мысль переносимой: времени не существует. Пагода с колоколом — тому доказательство: и с 1972-го, и с 1989-го в ней не изменилось ни пылинки. Если довести эту мысль до логического конца, то и я тоже не изменилась. Точнее, я узнаю себя скорее в 1972-м, чем в 1989-м. Сравнивать себя с двадцатидвухлетней девушкой кажется большей нелепостью, чем с маленькой девочкой, поселившейся во мне навсегда.

Итак, мне пять лет, и я в 2023 году смотрю на колокол в Наре со своей подругой Пеп Бени. Это работает, она не замечает моего превращения, фотографирует на айфон галереи буддийского монастыря.

Я инстинктивно беру ее за руку.

— Что это с тобой?

Ее реакция — призыв к порядку. Надо изображать из себя взрослую. Но как? Сказать какую-нибудь глупость. Принято.

— Правда, красиво?

Потом я отворачиваюсь и снова погружаюсь в собственное прошлое, наслоившееся в пагоде. Реплика была дурацкой, но точной, и я отвечаю сама себе:

— Да, невероятно красиво.

Если я проживу еще долго, то, возможно, однажды снова вернусь в Нару, добавлю пластов в слоеный пирог ностальгии.

Мы восхищаемся несколько часов напролет, потом ноги несут нас на вокзал. Я сдерживаю порыв гордости, ведь я не показала подруге, каких высот ностальгии достигла. Наверное, отчасти поэтому она в таком восторге от экскурсии.

В поезде Пеп говорит:

— Спасибо, ты была хорошим гидом. Знаешь толк в Кансае.

Величайшая из похвал! И все потому, что скрывала слезы и почти все время молчала!

— По-моему, я вообще ничего не говорила.

— Зато молчала очень точно и познавательно.

Вернувшись в Киото, мы проводим последний кансайский вечер в Гионе. В восемь вечера

гейши, которых мы спугнули две ночи назад, выглядят не столь обворожительно. Мы здороваемся с нашей цаплей, она, как всегда, на посту. Ужинаем всеми видами тэмпуры, нам обжаривают цветок за цветком.

Назавтра мы съезжаем из *рёкана*. Пеп провожают как генерала, одержавшего победу: девушки-горничные склоняются перед ней, дарят ей подарки, просят меня перевести ей ласковые слова. Хозяин не показывается. Такси увозит нас, и почитательницы моей подруги стоят в глубоком поклоне, пока мы не скрываемся из виду.

Всинкансэне, скоростном поезде до Токио, со мной случается комичная история: я не могу найти билет. Я вытряхиваю сумку — все напрасно, билета нет. У меня осталась квитанция об оплате, я показываю ее контролеру в доказательство того, что не лгу. Он не сомневается в моей честности, но объясняет, что по прибытии в Токио придется предстать перед начальством. Начальство токийского вокзала — эти слова приводят меня в ужас.

— Из-за автомата, — уточняет контролер.

Я пугаюсь еще больше. Мне представляется машина, кромсающая безбилетников. А поскольку со вчерашнего дня мне пять лет, я реву.

Контролер обещает прислать свою коллегу

женского пола в надежде, что женская мягкость утихомирит эти неуместные слезы. Пассажиры глядят на меня в изумлении.

— Плакать из-за какого-то билета! — потешается надо мной Пеп.

Прибежавшая контролерша говорит со мной по-матерински ласково. Тем не менее ее воркующий голос произносит все те же страшные слова. Я рыдаю с удвоенной силой — а пятилетнему ребенку не приходит в голову вытереть слезы или высморкаться. В конце концов любезная служащая синкансэна брезгливо спрашивает, нет ли у меня приличного носового платка.

Я достаю из сумки пачку “Клинекса”, вытаскиваю бумажный платок и — о чудо! Мой билет на поезд юркнул внутрь, к платочкам. Бессовестное коварство вещей.

Я испускаю радостный вопль, машу билетом, контролерша поздравляет меня, как умственно отсталого ребенка. Драме конец, еще немного — и она подарит мне в утешение стикер с *Hello Kitty*.

Мы прибываем в Токио, и тут я сознаю, какой серьезной проблемы избежала. На выходе из вокзала Синкансэна нужно сунуть билет в турникет, никак иначе пройти нельзя. Я называю этот механизм “турникетом”: у нас это небольшой

тамбур с перегородкой, ее легко перепрыгнуть или перелезть. Здесь это не только невозможно, но, главное, не принято. Нарушить закон — это почти как пройтись в голом виде, на такое никто не решится. В общем, не найди я билет, пришлось бы вступать в переговоры с вокзальным начальством, и дело даже не в штрафе или доплате: я бы пережила унижение, ибо пренебрегла главной обязанностью — все делать по правилам.

Я еду в синкансэне отнюдь не первый раз. И раньше никогда не замечала рокового турникета — которому больше пристало именоваться порталом смерти, — потому что не теряла билет и, не раздумывая, вручала его автомату, единственному, в чьей власти пустить вас на территорию Токио.

Что-то мне подсказывает, что потерять билет в обратном направлении было бы не так страшно: в Нагое, в Киото, в Осаке начальник вокзала общался бы с вами словесно, как у нас. В Токио пришлось бы объясняться перед механизмом, соответствующим по величине самой агломерации (сорок два миллиона жителей).

“Хорошенькое начало”, — думаю я. Пеп забро-

нировала гостиницу в Гиндзе[51]. Гиндзу я знаю, это самое знаменитое место Токио, но я совершенно не представляю, где оно находится. Мы садимся в такси, называем адрес, и я читаю в глазах шофера, что перед ним туристки-новички. Метров через четыреста он тормозит.

— Ты забыла, что Гиндза прямо у токийского вокзала? — удивляется Пеп.

— Ага, — стоически отвечаю я.

Отель — полная противоположность *рёкана* в Киото: высокое современное здание. Номера наши на девятнадцатом этаже, кубической формы, с видом на город. Мы бросаем вещи и бежим прогуляться по Гиндзе.

— Токио! — ликует Пеп.

Я ее понимаю. На первый взгляд Гиндза — точь-в-точь воплощение идеи мегалополиса. Мне не хочется ей говорить, что в сравнении с моими воспоминаниями 1989 года теперешняя Гиндза слегка напоминает Пятую авеню в Нью-Йорке. Больше всего меня удивляет, что я еще помню 1989 год, и мало-помалу до меня доходит один очень тягостный мнемонический факт.

Я жила в Токио два года, с моих 21 до 23 лет.

---

[51] Примечания: 51

Гиндза — элитный торговый квартал и культурный центр Токио.

Здесь я пережила такие важнейшие события, как первая серьезная любовная связь и первый профессиональный опыт. Две моих книги — свидетельство тому, какой отпечаток оставили на мне эти юные годы. Это не просто записанные воспоминания, это воспоминания, из которых состоит моя повседневная жизнь.

И вот я возвращаюсь в Токио, и выясняется, что память меня подводит. Если мне, например, захочется сходить по тому адресу, где я жила в 1989 году, я его не найду. Само место и его окрестности помню наизусть, но совсем не представляю, где оно может находиться. В южной части города, в восточной? Я не могу ориентироваться, хуже того, мои токийские воспоминания бесплотны: тело не сохранило от них никаких следов. Мне надо водить Пеп по городу, ставшему для меня умозрительной картинкой. Само собой, о том, чтобы объяснить ей, в чем проблема, не может быть и речи. Она решит, что я над ней издеваюсь или что я вру и никогда здесь не жила.

Этимологически глагол “обитать”, *habiter* — это итеративная форма латинского глагола “иметь”: обитать значит “долго иметь”. Я долго имела Токио, но это обладание исчезло. Этот мегалополис больше не мой, и я только сейчас начинаю пони-

мать масштабы последствий такой ампутации.

Может, дело в том, что я вернулась в пятилетний возраст? Кансай с такой силой вернул меня в детство, что отрезал все остальное. В пять лет для меня, маленькой провинциалки, Токио был чужим. Вполне возможно, причина именно в этом.

Рассуждать мне некогда, я оказываюсь в центре событий. После долгой прогулки по Гиндзе Пеп хочет освежиться в номере. Очень уместная передышка, я горячо одобряю ее намерение. Выхожу из душа и слышу бешеный стук в дверь.

— Я не могу здесь оставаться, тут клещи, еще минута, и я умру.

В самом деле, лицо подруги искажено судорогой, а в горле явно разгорается острая аллергия. Я запрыгиваю в туфли, и мы спускаемся на ресепшен. Служащие чрезвычайно любезны, они клянутся, что отвели ей самый новый и чистый номер в гостинице, как она и просила. Они говорят правду, вне всякого сомнения, но окна здесь лишь слегка приоткрываются, проветрить номер нельзя, а значит, заведение вредно для такой застарелой астматички, как Пеп.

Мы опять в боевой готовности. Куда податься? Как в четверг в четыре часа дня найти другую гостиницу, тем более гостиницу подходящую?

Я предлагаю вернуться в Киото, есть надежда, что нас снова поселят в *рёкане*.

— Я хочу посмотреть Токио! — негодует Пеп.

Она звонит нашей местной знакомой, изумительной Алисе: та с мужем и сыном уже два года живет в Токио. О чудо: Алиса тут же предлагает поселить нашу подругу у себя. Дом у них суперсовременный, воздуха очень много, аллергику должно подойти. Я хочу вызвать такси, но она уверяет, что на метро гораздо быстрее. И просит Пеп передать мне трубку, чтобы объяснить, как ехать:

— Это очень просто. Садитесь на Юракутё, едете до Икэбукуро, потом…

Паника. В молодости я ездила на токийском метро по крайней мере четыре раза в день. Да, но это было тридцать четыре года назад. Я с отрешенным видом отвечаю “да-да”, пытаюсь не дать понять Алисе, что ее слова звучат для меня тарабарщиной, и завершаю разговор смешной фразой:

— Скоро будем.

Смятение свое я скрываю прежде всего от Пеп. У бедняги все еще опухшее горло из-за приступа аллергии, не хватало еще морочить ей голову своими заскоками. Помнится, в 1989-м у меня не

было кредитки. Я бросала иены в автомат, и он выдавал билет. Мне будет не хватать старой доброй системы, это точно. Мы спускаемся в метро, я шарахаюсь от автомата: он стал неузнаваем. Обращаюсь в кассу и прошу два билета до пригорода, где живет Алиса. Кассир знает, что ветка эта не туристическая, и предлагает лучше купить два проездных.

— Отличная мысль, — отвечаю я, протягивая ему кредитку.

Он в ужасе отталкивает ее, словно я пытаюсь дать ему взятку. И показывает, в какой аппарат ее вставлять.

Мы спускаемся на платформу линии Юракутё, и Пеп чертыхается от восторга:

— До чего же чисто, и все чинно стоят в очереди там, где откроются двери. Это какой-то сон!

Мы заходим в вагон, и подруга не скрывает изумления:

— Час пик, а никто не толкается, даже не дотрагивается ни до кого, и места уступают старикам и беременным женщинам, где такое видано!

Я понимаю ее удивление, но сама переживаю нечто гораздо более невероятное. По линии Юракутё я ездила каждый день, и каждое название станции повергает меня в невообразимое вол-

нение. Я пытаюсь объяснить Пеп, что, поживи я какое-то время в Париже тридцать с лишним лет назад, я сейчас пришла бы в экстаз от привычных названий станций, вроде “Вавен” или “Распай”.

— И поэтому у тебя глаза на мокром месте? — безжалостно отвечает она.

Я прихожу к выводу, что чувства свои лучше держать при себе; к тому же меня радует, что воспоминания у меня такие точные. Но напрасно я напрягаю память: все эти сентиментальные всплески по поводу станций нисколько не помогают вспомнить, как передвигаться по лабиринту этого города и тем более как водить по нему Пеп.

Алиса живет в Нэриме; в 1989 году метро туда еще не провели. Тогда этот городок даже не был пригородом. Большой Токио поглотил его совсем недавно.

Подруга ждет нас на платформе, мы бросаемся обниматься.

— Ты мне жизнь спасла, — заявляет Пеп.

— Посмотрим, подойдет ли тебе квартира, тогда и будешь говорить, — отвечает осмотрительная Алиса.

Она ведет нас по прелестному японскому городку, символом которого служит дайкон, гигантский белый редис. Его тут продают на каж-

дом углу. Семь минут — и мы стоим перед домом Алисы. Поднимаемся на нужный этаж, заходим в квартиру. Напряжение достигает высшей точки.

— Смотри, твою кровать я поставлю вот сюда, если не будет аллергии. Сколько нужно времени, чтобы понять, будет приступ или нет?

— Пять минут, — отвечает Пеп.

Мы замираем на триста секунд, ждем симптомов. Горло у Пеп не болит? Дыхание не затруднено? Из носа не течет? Я пытаюсь разработать план Б на случай катастрофы. Рыскать по Токио в поисках не вредного для здоровья номера — эта миссия представляется мне невыполнимой. Выхода может быть только два: либо поезд в Киото, либо самолет в Париж.

— Шик-блеск! — изрекает Пеп. — У тебя нет пылевых клещей.

Мы облегченно выдыхаем. Алиса, любезней которой нет на свете, поворачивается ко мне:

— Простите, Амели, вас мне устроить негде.

— Но у меня же нет аллергии, я вернусь в гостиницу. Будем на “ты”?

— Но хоть поужинай с нами! Муж с сыном пошли за провизией.

Начинается пир. Жеральд и 16-летний Абель возвращаются с японским пивом и дайконом. Мы

едим и пьем, настроение прекрасное. Избыток дайкона вызывает жутко громкую отрыжку. Изумительный вечер.

— У вас, наверное, все по минутам расписано, — говорит Алиса.

— Наоборот, — отвечаю я. — И по-моему, я ничего не помню.

— Я бы с удовольствием показала вам Токио, — предлагает Алиса.

Какое счастье! Она спасла Пеп, теперь спасает меня.

Около половины одиннадцатого я ухожу и возвращаюсь на станцию “Нэрима”. Час на метро — и я в гостинице на Гиндзе. Из окна номера виден Токио, его расползающиеся во все стороны огни. Какая разница, что у меня с памятью! Я снова здесь, и я вне себя от радости.

В Париже я решила, что в Токио перечитаю “Наоборот” Гюисманса. Мне нужно было заново открыть для себя шедевр, прочитанный в восемнадцать лет и вызвавший у меня невероятный восторг. По какой-то необъяснимой причине Токио казался мне идеальным местом для таких литературных встреч после долгой разлуки.

Вчера было 24 мая. Отцу исполнилось бы 87 лет. Я достаю из чемодана “Наоборот”, ложусь на

кровать и торжественно начинаю его перечитывать.

Перечитывать — это нечто куда больше, чем читать, это акт любви. В таком глубоко личном деле, как литературное обладание, рисковать снова влюбиться с первого взгляда — чистое безумие. К счастью, чары действуют уже с первых страниц. И не случайно повторное наслаждение приходит именно в Токио. Суперсовременный вид из окна придает стилю Гюисманса упоительный привкус.

В восемнадцать лет я ничего не знала о Франции, и оттого книга казалась мне еще более загадочной. Теперь я вдруг понимаю, что берлога Дэз Эссента находится в Фонтене-о-Роз, и эта деталь кажется мне скорее комичной. Наверное, его невероятный дворец — в конечном счете просто пригородная халупа. К тому же я забыла сцену с дантистом, и она причиняет мне боль.

Просыпаться в Токио — совсем не то, что в Кансае. Какой контраст! Четыре утра подряд я открывала глаза, окутанная запахом татами и невероятной тишиной. В Токио ты сразу пронизан пульсирующей, ритмичной энергией непрекращающегося городского шума.

В Токио тесно, и в номере негде писать. Поэтому

пишу в кровати. Не идеально, но работает. Лежу в позе римского патриция, пишу свою порцию, забившись под толстое одеяло. Контраст между тем, что я пишу, и условиями, в которых пишу, мне скорее нравится — они на меня не влияют. Наверное, за столько лет я уже научилась быть сочинительницей-вездеходом: я писала в самолете, а порой даже в автобусе. Приспособиться к окружающему означает в данном случае его не замечать.

В девять утра Алиса и Пеп ждут меня на ресепшене.

— Ты куда хочешь пойти? — спрашивает Алиса.

— Даю тебе карт-бланш, — отвечаю я: они не должны догадаться, что я понятия не имею, куда идти.

Ответ удачный. Алиса уже продумала маршрут. Значит, эта женщина, прожив два года в Токио, досконально знает город — так, будто постоянно его изучала. И собирается приобщить Пеп к токийской вселенной и заново погрузить Амели в то, что той якобы знакомо: она ведет нас в Харадзюку[52], где по-прежнему клубится эксцен-

---

[52] Примечания: 52

Харадзюку — квартал, где собирается модная японская молодежь.

тричная молодежь, где ничего не изменилось с той поры, какую я называю “в мое время”.

— Перестань так говорить, — заявляет Пеп, — можно подумать, ты какая-то прабабка.

Мы бродим по кварталу, заглядываем в самые укромные барахолки; арсенал гейши-готушки или кавайного панка для нас теперь не секрет.

Я пытаюсь утешаться тем, что прекрасно помню Харадзюку. Не получается. Не будь Алисы, пришла бы мне в голову мысль, притом вполне очевидная, начать осмотр Токио с Харадзюку? Вовсе не уверена. И даже если предположить, что пришла бы, сумела бы я добраться туда на метро? Нет. Я пытаюсь снова вжиться в Токио, но память моя утыкается в колоссальную неопределенность пространства. Ни к чему не привязанные воспоминания — это что-то странное и тревожное.

— Тут совсем рядом Мэйдзи-дзингу[53], — говорит Алиса. — Амели, хочешь взглянуть на него снова?

— Я там никогда не была.

Алиса смотрит на меня в полнейшем замеша-

---

[53] Примечания: 53

Мэйдзи-дзингу — самое крупное в Токио синтоистское святилище, посвященное императору Мэйдзи (1852–1912) и его супруге; окружено садом, где представлены все деревья и кустарники, растущие в Японии.

тельстве. Я тут же усугубляю ситуацию:

— Я как-то про него не подумала.

Все ясно, я вроде человека, который прожил два года в Париже и даже не подумал заглянуть в Лувр или в Тюильри. Но нет. На меня это непохоже. Тогда почему я его упустила? Понятия не имею.

Пеп, посмеиваясь, говорит Алисе, что, судя по всему, мои познания в Токио остались на уровне четырехлетней девочки. Увы, она ошибается. Девочка жила в моем Канзасе, и там воспоминания работали. В Токио — *tabula rasa*.

Итак, я первый раз попадаю в Мэйдзи-дзингу одновременно с Пеп и не могу опомниться: как я умудрилась столько времени прожить в этом городе и лишить себя такого великолепия? Парк начинается с длинного навеса из величественных деревьев, настолько плотного, что не видно неба; от запахов криптомерий кружится голова. Святилище Мэйдзи по-японски пристойно, высшего класса, ничего подавляющего, можно предаваться восторгам, не опасаясь утратить чувство меры.

Безжалостная Пеп поддразнивает меня:

— Можно узнать, почему ты ни разу тут не была? Это ведь парк для влюбленных, ты небось

предпочитала укромные местечки…

Мне нечего ей сказать, но, подозреваю, правдоподобное объяснение у меня есть: в то время я приехала в Токио, чтобы больше отсюда не уезжать. Я собиралась здесь жить. И считала себя настолько токийкой, что презирала достопримечательности. Коренные парижане не лазят на вершину Эйфелевой башни.

Несмотря на смятение, я с головой погружаюсь в это великолепие. Меня бросает в дрожь, подступают слезы.

— Ну вот, плачет, — злится Пеп. — Я же тебя просила, не надо!

— Тебя бесит моя ностальгия. Но сейчас-то дело не в ней, я ведь здесь никогда не была. Я от восхищения плачу.

Алису смешат наши перепалки. Она ведет нас обедать на Омотэсандо[54]. Я показываю ей кафе, куда мы с отцом ходили по воскресеньям. У нас с ним были свои обходные пути, я благодарна Алисе за то, что она обходит их стороной.

— Значит, ты все-таки помнишь? — спрашивает Алиса.

И да, и нет. Помню эмоции, слова, запахи.

---

[54] Примечания: 54

Омотэсандо — аллея, где расположено множество модных магазинов, ведущая от храма Мэйдзи до станции “Омотэсандо”.

А между ними пустота. Воспоминания слишком обрывочны, не складываются в географию. Например, у меня не отложилось в памяти, что Харадзюку недалеко от Омотэсандо.

— Не знаю мнемотехники лучше, чем отцовский голос. Стоило ему хоть раз произнести какое-нибудь слово на каком угодно языке, и оно впечатывалось в меня навеки. Это явление свойственно раннему детству, а оно всегда живет во мне. В 1989 году, когда мне пришлось учить японский заново, я старалась попадать на все лекции и мероприятия, какие он устраивал в Токио: любая речь, произнесенная им по-японски, добавляла на мой жесткий диск по тысяче слов и тысяче оборотов.

— А на его спектаклях театра Но тоже так было? — спрашивает Алиса.

— Чуть меньше. Средневековый японский более трудный. И потом, точно так же как в нашей опере, в сложных ариях почти невозможно разобрать слова.

Пеп предлагает мне, по примеру отца, исполнить какое-нибудь песнопение из Но. Я пытаюсь. В ресторане все глядят на меня озадаченно. Лучше помолчать.

В маленьком окрестном музее при входе на

выставку, посвященную кошкам в японском искусстве, висит табличка с надписью: “Разговаривать во время осмотра запрещено”.

— Почему? — удивляется Пеп.

— Это правило действует почти во всех токийских музеях, — объясняет Алиса. — Считается, что для созерцания необходима тишина.

— Это избавляет от необходимости слушать банальности и глупости, как во всех пинакотеках, — добавляю я.

Кошка в японском искусстве занимает такое же место, как птица в искусстве майя или бык в искусстве критском. Картины на выставке восхитительные и забавные. Пеп в восторге и периодически шепчет мне на ухо всякие занятные комментарии.

Через полчаса к нам подходит смотритель и делает Пеп замечание при помощи той самой таблички с запретом: он принес ее с собой. Остальное написано на его сердитом лице.

— Что? Я же шепотом! — резко отвечает Пеп.

Говорит она в полный голос. Служителя чуть не хватает удар, он закатывает глаза. Алиса делает примиряющий жест и, приложив указательный палец к губам, указывает нашей подруге, что правила нужно соблюдать. Осмотр продолжается в

грозовой тишине. Зная Пеп, я догадываюсь, какая буря бушует у нее в голове. Так и есть: на выходе из музея она взрывается:

— Ненавижу их дебильное правило! А ты, ты почему за меня не заступилась? Почему не сказала этому типу, что я шептала, а не говорила вслух?

— Потому что это бесполезно. Японцы — невероятные формалисты. Для них шептать значит разговаривать. Правило есть правило.

— Если бы Амели вмешалась, было бы только хуже, — подтверждает Алиса.

— Но шепот же никому не мешает! — упрямится Пеп. — Почему нельзя поделиться своими чувствами тогда, когда их испытываешь?

— Согласна, — говорит Алиса. — Но японцы хотят, чтобы люди обменивались впечатлениями после того, как уйдут.

— Это уже неинтересно!

Пеп так идеализировала этот народ, что ей трудно признать его отрицательные черты. Этап, который проходят почти все иностранцы, приезжающие в Страну восходящего солнца. Среди моих знакомых многие проскакивают этот поворот и впадают из одной крайности в другую: сперва боготворят Японию, потом из-за какой-ни-

будь мелочи начинают ее ненавидеть. Пеп это не грозит, я знаю.

Фантастическим контраргументом служит история Алисы. Она рассказывает, как приехала в Японию в самый разгар ковида. Местные власти не только посадили троих иммигрантов на чудовищно суровый карантин, но и потребовали, чтобы их сына, которому было тогда четырнадцать, поселили отдельно от родителей. Драмы удалось избежать только потому, что ее муж сопротивлялся до последнего.

— И после подобного приема ты все-таки сумела полюбить эту страну? — спрашивает Пеп.

— О да. Как можно не влюбиться в такую красоту? И люди здесь изумительные, не считая этих упертых карикатурных решал. Очень хочется тебя познакомить с моими здешними друзьями. Они такие мягкие и приветливые, такие классные.

— По-моему, ты сама себя описываешь, — замечаю я.

Алиса краснеет.

— Неудивительно, что ты здесь чувствуешь себя как дома, — продолжаю я. — В тебе сошлись все достоинства этого народа.

— Японские друзья мне то же самое говорят, —

признается Алиса. — Я приезжала на Рождество во Францию, так мне было очень трудно общаться с соотечественниками.

— Ну-ну, меня-то ты переваривaешь? — спрашивает Пеп.

— Тебя — да, — смеется Алиса.

— А бельгийцев?

— Бельгийцы — это вообще край! — вставляет Пеп.

Алиса дает нам на вечер адрес бара под названием “Арсен Люпен”, клянется, что бар не французский. Мы расстаемся, вечером я провожу Пеп к ней в Нэриму.

Вход в подвальный кабак указывает вывеска: цилиндр с моноклем и мундштуком. Перед нами длинное узкое помещение с невероятным количеством тканевых покрытий. Я тут же пугаюсь, что у подруги начнется острейший приступ аллергии: в подобном месте должно быть невообразимое количество пылевых клещей. Но она в восторге и, похоже, о них даже не вспоминает:

— Высший класс! Мне ужасно нравится.

Распорядитель в костюме бармена пятидесятых годов усаживает нас за стойку и спрашивает, что нам угодно. Пеп интересуется, какие у них есть коктейли, он подробно рассказывает про каждый

и осведомляется о ее вкусах так почтительно, словно перед ним Аль Капоне. В результате совместных весьма напряженных умственных усилий они останавливаются на напитке, который я для удобства буду называть “Перекресток Синдзюку”.

Затем он поворачивается ко мне, и я прошу чистый японский виски. Он выкладывает передо мной бесконечный перечень, я его останавливаю:

— Налейте, какой вам больше нравится.

Ответ ему не по душе, но он не настаивает. Он явно видит во мне приживалку выдающейся личности, выказавшей такую разборчивость при выборе угощения.

Мы смотрим, как он смешивает “Перекресток Синдзюку”. Завораживающее зрелище. Он отмеряет загадочные, изысканные ингредиенты, шейкер для него — священный сосуд, как кадило для кадилоносца. Через руку у него переброшено белое полотенце, отглаженное и сложенное, он обтирает им край шейкера после того, как наливает напиток в подобающий коктейльный бокал, а затем кидает в бак с грязным бельем. Он с глубоким почтением подносит сей нектар Пеп, потом небрежно наливает мне виски.

Мы чокаемся:

— За Токио!

Подруга отпивает глоточек “Перекрестка Синдзюку” и запрокидывает голову:

— Вкуснотища!

Она предлагает мне попробовать. Я не любительница коктейлей, но вынуждена признать, что этот идеален:

— Наконец-то коктейль не с конфетным вкусом!

— Взяла бы себе тоже.

— У меня дивный виски.

Я забыла его название, но не этот изысканный ожог с легким торфяным оттенком.

— Ты в какой бар ходила, когда жила в Токио?

— Ни в какой.

— Тебе двадцать лет было, и ты не ходила по барам?

Я обращаю ее внимание на публику: вокруг нас нет никого моложе сорока.

— В Мадриде я в свои двадцать лет каждый день ходила в бар, — говорит Пеп.

— Мадрид — совсем другое дело. Тут люди в костюмах слушают Дюка Эллингтона, какая молодежь сюда пойдет?

— А чем вы с юным женихом занимались в

Токио по вечерам?

— Гуляли в парке Сироганэ. Ели *окономияки* на улице, стоя. Потом он вел меня в порт смотреть на журавлей.

— Птиц?

— Нет, на подъемные краны фирмы “Комацу”. Ночью это очень красиво.

Подруга смеется, допивает коктейль. В Париже она в таких случаях просит повторить. Здесь — подзывает бармена, снова консультируется с ним и наконец выбирает другой коктейль. Я беру порцию того же виски.

Мы говорим об Алисе, Пеп у нее очень хорошо.

— Мне нравится участвовать в жизни ее семьи. Они все трое такие спокойные, уравновешенные. Удивительная гармония, никогда такого не видела.

— В Алисе очень много от японки.

— Обожаю. Обожаю японцев. Хочу быть похожей на них.

Я улыбаюсь. На мой взгляд, очень маловероятно, что Пеп переймет японскую безмятежность. Со мной то же самое. Я знаю — пробовала.

— Все равно, не сомневаюсь, что в двадцать лет ты была занудой. Японский жених небось скучал с тобой до чертиков.

— Он не жаловался.

— Просто он был прекрасно воспитан!

Мы допиваем и идем ужинать в какое-то непритязательное заведение, едим собу. Еда в состоянии подпития — чистое удовольствие, никаких недоразумений.

Я отвожу подругу на метро в ее дальний пригород и возвращаюсь в гостиницу. Хмель прошел, я читаю тот фрагмент в “Наоборот”, где Дэз Эссент инкрустирует панцирь черепахи драгоценными камнями. Помимо прочего, перечитывание позволяет понять, насколько изменилась твоя впечатлительность. Сейчас меня куда легче растрогать, чем в восемнадцать лет: смерть черепахи — настоящая пытка, я вот-вот расплачусь.

Подниматься на гору Фудзи еще нельзя, можно будет только летом, но назавтра мы с Алисой и ее семейством едем на экскурсию в некое особенное место, за Такао. В хорошую погоду оттуда, с вершины, открывается невероятный вид на Фудзи. Сейчас его почти не видно за облаками.

— Ничего страшного, — говорит Пеп. — Я прекрасно рассмотрела Фудзи из окна синкансэна. Тогда было солнечно.

— Извини, но не соглашусь, — отвечает Жеральд, — не все панорамы одинаковы. Отсюда на

Фудзи такой вид, что дух захватывает.

— Так тоже красиво, он плывет в тумане, — говорю я.

И читаю знаменитое хайку Басё: “На луну загляделись. Наконец-то мы можем вздохнуть! — Мимолетная тучка”[55].

— Хорошо, если мимолетная, — говорит Алиса. — Будем надеяться, пролетит.

Мы едем по всем наблюдательным пунктам, откуда смотрят на Фудзи, снова и снова садимся в машину, взбираемся на каждый холм, пьем чай на каждой террасе, молимся в каждом храме. Где бы мы ни остановились, Фудзи бастует. Груды облаков, уцепившихся за гору, дразнят нас везде, где полагается любоваться картиной самой красоты.

Я цитирую Бодлера: “…Облака… чудесные облака”[56].

— Славному Шарлю и не снилось увидеть Фудзи во всем великолепии, — говорит Жеральд.

Фудзи во всем великолепии я видела даже чаще, чем хотела: в августе 1989 года я взобралась на вулкан, спала на его вершине, а позже,

---

[55] Примечания: 55

Перевод В. Н. Марковой.

[56] Примечания: 56

Фрагмент строки из стихотворения Бодлера “Чужак” в переводе Е. В. Баевской.

15 декабря, он служил мне ориентиром во время самого метафизического в моей жизни похода в горы[57]. Дерзну сказать, я была с ним на “ты”. Так что меня нисколько не обескураживает его нынешняя скрытность, но о чувствах своих я помалкиваю, их могут неправильно понять.

Мы обедаем в какой-то забегаловке, нам подают суп с удоном. Жеральд объясняет, почему он в сорок пять лет отказался от карьеры во Франции и попробовал обжиться в Японии:

— Мы с Алисой жили в Нанси, мы были счастливы, но без конца говорили про Японию. Однажды мне попалась на глаза вакансия в Токио. Я посоветовался с Алисой и Абелем. Они оба сказали: “Едем!” У Абеля еще не закончился учебный год, но мы чувствовали, что не вынесем ни малейшего промедления. Разделались со всякими формальностями, и вот прибыли в Токио в самом начале пандемии, не подозревая, в какой ад попадем.

— Вы жалеете, что переехали?

— Нет. Но в первые месяцы, когда мы сидели на карантине, было ужасно. А сейчас работа не приносит мне радости. Все то, что ты описываешь в “Страхе и трепете”, правда, я это каждый день

---

[57] Примечания: 57
См. роман Амели Нотомб “Токийская невеста” (2007).

чувствую на себе. Навсегда я здесь не останусь, но нам всем троим хотелось пожить несколько лет в Японии, и мы были правы. Это потрясающий, ни с чем не сравнимый опыт.

— А для меня это счастье, — вступает Алиса. — Я вижу, что здесь не все ладно, но я создана для того, чтобы здесь жить. А Абель на седьмом небе, что живет в стране манги. Токийский французский лицей ему по душе, там полно учеников-японцев.

Мы снова идем на приступ, ищем вид на Фудзи. Тучи сгущаются, нам с Пеп хочется сказать друзьям, что пора бросать это дело.

— Мы вам покажем наше тайное местечко, — решает Жеральд.

Он везет нас куда-то, где нет никаких указателей. Мы на чайной плантации.

— Так близко от Токио? — удивляюсь я.

— Да, — отвечает Алиса. — Зеленый чай высшего качества, который выращивают у подножия Фудзи. Обычно гору отсюда отлично видно, и более красивый вид невозможно даже вообразить.

Ничто так не похоже на рай, как мы его представляем, как чайный сад. Кустики сплошной стеной взбираются вверх, сами собой принимая нежные, гармоничные формы; вокруг словно

плавно поднимаются в гору сонмы дзэнских монахов.

— Можно пройтись между посадками? — спрашивает Пеп.

— Не советую, там водятся маленькие зеленые змейки.

В каждом Эдеме есть свой змей. Как это понятно! Хочется жить здесь, угнездившись среди чайных кустов. Ходить друг к другу в гости со словами:

— Не хотите ли пару листиков чаю?

И пусть заваривается прямо в нас волшебное растение, пусть высвобождает свой чудодейственный эффект — мягкое пробуждение. Зрелище чайной плантации дарит мне такое же упоение, как прогулка по виноградникам. Не случайно два моих жизненно важных напитка, чай и шампанское, рождаются на плантациях такой поразительной красоты.

Мы идем по тропе сборщиков. Над нами угадывается присутствие моего хранителя Фудзи, я ощущаю его власть. Во мне пробуждаются все признаки кэнсё, предварительного озарения, описанного в дзэн-буддизме: все открывается — сердце, голова и еще то, что, как мы думаем, не может открываться, но и оно раздвигается: кровь,

кожа, кости впускают в себя энергию совершенства, исчезновения пространства и времени, прошлого-настоящего-будущего, любых замыслов, собственного “я”, превращая меня всего лишь в струйку сознания, блаженствующего от пребывания здесь, рядом с моим другом Фудзи — мне не нужно его видеть, я узнаю объятия божественного брата, мы с тобой столько пережили вместе, как изысканно-волнующе наше свидание!

Последний раз я испытывала кэнсё в апреле 2012 года, в Токио, на перекрестке Синдзюку. Почему, чтобы пережить такое, непременно нужно попасть в Японию? Не знаю. В этой земле таится какая-то неведомая сила.

Кэнсё — сокращенная версия сатори, окончательного пробуждения. Откуда мы знаем, что переживаем предварительный вариант? На самом деле мы и не знаем. А раз время больше не существует, то и какая разница. Когда мы наравне с вечностью, незачем задаваться вопросом, что будет дальше с этим самозабвением.

Об этом в любом случае молчат. Если кто-то говорит, что достиг сатори, ему до него как до звезды. Говорить о кэнсё, когда оно происходит, невозможно по определению. Зачем люди говорят? Затем, что имеют некую информацию и

хотят ее сообщить. Хотят что-то узнать. Хотят существовать.

Тому, кто переживает озарение, вовсе не нужно, чтобы об этом знали, и он не хочет существовать.

Сейчас, 27 мая 2023 года, на чайной плантации под горой Фудзи, которая тоже не хочет существовать, я шагаю беспричинно, бесцельно, я точно так же могла бы стоять неподвижно, ноги сами несут меня вперед, в их чередовании словно распускается восторг, а восторг словно рвется расстелиться в пространстве. Я заметила, что радость всегда велит ходить, быть может, просто из-за музыки: ты целиком превращаешься в ритм, нас всегда наполняют ритмы, но в обычное время это незаметно, а тут я радуюсь множеству образующих меня ритмов, слышу их, мне остается лишь согласовать их между собой и наслаждаться целым. Целый концерт для публики, состоящей из меня одной.

Я не замечаю, что Пеп идет следом.

— Ты куда направилась? — спрашивает она наконец.

Оказывается, она здесь; в обычное время я бы подскочила. Сейчас я останавливаюсь, смотрю на нее, она явно думает, что привела меня

в сознание, на самом деле никуда она меня не привела, она мне не мешает, мне, кажется, ничто не в силах помешать. Если бы Фудзи внезапно очнулся, снова стал действующим вулканом и вознамерился погрести нас под потоками лавы, меня бы и это устроило.

Вдали стоят Алиса и Жеральд, зовут нас. Мы не спеша двигаемся к ним среди идиллического пейзажа. Какие-то остатки общительности заставляют меня сказать:

— Здесь невероятно красиво.

— Ведь правда? — отвечает Жеральд. — К сожалению, до Токио не так уж близко, скоро начнутся пробки. Лучше ехать сейчас.

Мы покидаем это безупречное место. Жеральд берет курс на автостраду, теперь мы едем по размеченным местам, неотличимым одно от другого. Мне все равно. Я не спускаюсь с высоты. Меня вполне устраивает сидеть в машине, которая рано или поздно застрянет в смоле городского дорожного движения.

Жеральд останавливается у заправки, залить бак. Мы с Пеп, воспользовавшись остановкой, бежим в туалет. Как и повсюду на этой планете, в женском туалете очередь, а в мужском никого. Какая досада, мне невтерпеж. Вот всегда так.

— Я иду в мужской, — заявляет Пеп.

Сказано — сделано. Я не успеваю ее предупредить, что здесь это немыслимо. Люди никак не выказывают возмущения, это бы усугубило непристойность, но я знаю: они в шоке. “Так себя ведут только иностранцы”, — написано на их бесстрастных лицах.

— Ты что, собираешься тут три часа торчать, когда можно сходить в мужской? — восклицает подруга, выходя из туалета.

Меня терзает мысль, что кто-то может понимать по-французски:

— Ничего страшного, я могу подождать.

Что неправда, я уже переминаюсь с ноги на ногу.

— А что ты заставляешь ждать Алису с Жеральдом, тебя не волнует?

Я не знаю, что сказать, смотрю на Пеп как на придурочную. Она раздраженно вздыхает и идет к машине.

Во мне больше нет ни капли кэнсё. Какой стыд: все оборвалось из-за какого-то сортира. Я стою в очереди, настроение на нуле, и пытаюсь понять причины столь комичного краха. В сущности, а что такого: Пеп сходила в мужской туалет, шокировала людей? Так ведь она права. Еще можно

последовать ее примеру, мне невмоготу, еле-еле сдерживаюсь. Но напрасно я твержу себе, что лучше сходить в мужской туалет, чем сию минуту описаться на глазах у всех, — у меня не получается. Слишком сильный блок. В Европе я бы не думала ни секунды. В Японии я знаю, что вызову шок. Меня подавляет мое японское сверх-я.

Женская очередь почти не движется. Сен-Симон рассказывает, что Людовик XIV запрещал придворным отлучаться в его присутствии и что одна дама, которой не терпелось примерно так же, как мне, упала в обморок. Мне хочется упасть в обморок, чтобы не было так нестерпимо. Кому сказать: еще двадцать минут назад я пребывала на вершине дзэн-буддийского экстаза, а теперь я — один сплошной мочевой пузырь, изнемогающий под бременем моего японского воспитания!

Наконец подходит мой черед. Нет смысла распространяться про самое известное из человеческих облегчений. Я возвращаюсь к машине. Безжалостная Пеп не стесняется в выражениях по поводу моей зажатости. Алиса и Жеральд только улыбаются, мы снова катим к Токио, а я все пережевываю случившееся. Такой восторг — и такой непоправимый крах. Утешаюсь мыслью, что пережила невероятные часы. Мне случалось

испытывать кэнсё и в других местах, но ни разу не было так, чтобы я приехала в Японию и не достигла кэнсё. Разве это не доказывает, что я по-настоящему здесь? Да, я в Японии, никаких сомнений. Почему же я не верю самой себе? Просто не считаю, что заслуживаю доверия, вот и все. Что-то внутри все время свербит, смеется надо мной, отказывает мне в доверии. Сколько бы я ни упрощала, во мне назойливо звучит одна и та же песня: “Ясно же, что тебя не существует. К тому же ты все время пытаешься это доказать. Твой любимый Ницше говорит, что вера не нуждается в доказательствах[58], то, что в них нуждается, ничего не стоит. Я обращаюсь к тебе на «ты» только для удобства. На самом деле мне нечего тебе сказать, ты не достигла той стадии, на которой можешь принять слово и обрести существование”.

Пеп, удобно устроившись на сиденье рядом со мной, мурлыкает от счастья, всеми порами впитывает Японию, просматривает сделанные фотографии и со свистом втягивает воздух при

[58] Примечания: 58

“[Вера] не нуждается в доказательствах ни чудом, ни наградой и обещанием, ни «даже писанием»: она сама всякое мгновение есть свое чудо, своя награда, свое доказательство…”. Ф. Ницше. Антихрист. Проклятие христианству. Перевод А. В. Михайлова.

виде стольких красот. А я так счастлива быть здесь — и сражаюсь с бесконечно абсурдными метафизическими тревогами.

Как и следовало ожидать, машина вязнет в чудовищных пробках. Нельзя безнаказанно проникнуть в агломерацию на сорок два миллиона жителей. Суббота, токийцы отправились за город и хотят вернуться домой до воскресенья: воскресенье отдано пустоте. В Нэриме нас встречает Абель. Он после обеда читал “Творчество” Золя и говорит о нем с великолепной горячностью. Я вдруг понимаю, что эта книга — пробел в моем образовании, надо прочитать, когда вернусь в Европу.

В гостинице я погружаюсь в перечитывание Гюисманса. Я уверена в собственном существовании только в те минуты, когда читаю. По-моему, литература — единственная область, где я твердо стою на ногах. Чувственные приключения Дэз Эссента обращены ко всему, что во мне не так, то есть ко всему. Мало что так пьянит, как чтение романа, словно написанного специально для тебя. В отличие от кэнсё, это чувство возвращается сразу, как только снова берешь книгу в руки. Путешествия — лучшее место для чтения, не раз в этом убеждалась. Мне негде больше укорениться,

кроме книги, и мне это нравится.

Воскресенье Алиса проводит с семьей. Пеп приезжает ко мне в Гиндзу и предлагает показать ей какое-нибудь место, которое я помню. Я веду ее в парк Уэно: даже когда совсем забываешь Токио, все равно помнишь большой парк, куда ходят семьями. Мы долго гуляем. Подруга спрашивает, чем я здесь занималась тридцать лет назад.

— Ничем, — отвечаю я.

— Не удивляюсь.

Я не пытаюсь понять, что она имеет в виду, чувствую, что ничего хорошего о себе не услышу.

Что она называет словом “заниматься”? Звучит как “ходить в бассейн”, когда ты маленький. Нет, такого со мной, по счастью, никогда не было. Я два года прожила в Токио, это значит — работала, читала, писала, любила. Что еще надо?

— Когда ты сюда приезжала в 2012 году, ты помнила Токио? — допытывается она.

— Да. И даже очень хорошо.

— Что же такое случилось за последние одиннадцать лет, что у тебя отшибло память?

Хороший вопрос. Ничего особенного.

— У меня умер отец, — наконец говорю я.

— О нет, только не это! Опять начинается!

— Это единственно возможный ответ на твой

вопрос.

— И что? Смерть отца вызывает амнезию?

— Нет, изменяет мозг.

— Я тебя двадцать пять лет знаю. И отца твоего знала. Не так уж вы были близки.

— Это правда. Он умер и стал для меня страшно близким.

— А что для тебя такое парк Уэно? Говори первое, что придет в голову.

— Мисима. Недозволенные свидания, запретные цвета.

— Обожаю Мисиму, но сама-то ты что помнишь?

— Что у меня может быть более личным, чем жгучая память о книге?

— Но когда ты в двадцать лет сюда ходила, ты что-то для себя открывала. Расскажи.

— У меня это не отложилось. Я приходила и пыталась представить себе запретные свидания гомосексуалов у Мисимы.

— Неплохо. Ладно, попробуем соорудить себе личные воспоминания.

Мы садимся на террасе кафе в самом центре парка Уэно. Пеп заказывает пиво, а я чай.

— Ты вся повернута в прошлое, — говорит она. — А я тебе предлагаю настоящее. Интересно,

правда ведь?

Я киваю.

— Сыграй в игру, — продолжает она. — Просто будь здесь. Токио 2023 года стоит того, чтобы по-настоящему быть здесь.

Я сосредоточиваюсь:

— Мне надо что-то говорить?

— Нет, — отвечает Пеп. — Будь здесь, целиком и полностью. Это только твое дело.

Я пытаюсь. Мои глаза изучают все, что нас окружает. За соседними столиками сидят токийцы, что-то пьют. Погода сегодня, 28 мая, изумительная — солнечно, не слишком жарко; люди радуются этому чудесному свету. Воскресенье, день, отданный пустоте. Пустота в Японии совсем не то, что у нас. Здесь пустота — это чудо, к ней стремятся. Пустота — это возможность наконец жить.

В Европе тоже знают воскресную пустоту; она мрачная и пугающая. Мы не сумели ее приручить. Разве мы не нелепы? День, когда нечего делать: это же должен быть Священный Грааль! Здесь он таков и есть. Через несколько столиков от нас пьют чай две молодые японки. Одна очень красива, на ней шелковое платье нефритового цвета. Никого в этой стране не поражает, что

в двадцать лет так изысканно одеваешься для встречи с подругой; здесь раздражает небрежность. Чем дольше я смотрю на зелень ее платья, тем утонченнее она мне кажется. Может, это природа ткани переливается столь богатыми оттенками?

Я ныряю в эту нежную зелень, как в ванну. Может, она ближе скорее к зеленому церемониальному чаю, к порошку матча, тому, что только входит в моду у нас? Она переливается под весенним солнцем — полная противоположность дешевке зеленого яблока или солдатского хаки. Зелень воды? Тоже нет, в ней нет этой жестковатой голубизны. Зелень винограда я тоже отвергаю: шелк этот совсем не похож на фрукт, он не приглашает к ласке, он ищет вежливого, исподволь, созерцания.

Что ж, я погружаюсь в бездну этого муарового зрелища боковым зрением. Мало какое удовольствие сравнимо для меня с наслаждением цветом. Просто видеть перед собой поразительный оттенок, отмести все другие ощущения, воспринимать только эту особую вибрацию света, ведь цвет перелагает спектр на тот сокровенный язык, какой мы зовем синим, красным, в этом случае зеленым, я назову этот оттенок

церемониально-нефритовым.

Я чувствую себя так, словно наелась галлюциногенных грибов, хотя пила только самый обычный чай. Своим изысканным волнением я обязана чарам этой неяркой зелени, мне кажется, что больше ничто на земле не имеет значения, только это сладострастное хроматическое наваждение. Если попытаться отвести взгляд, меня тут же примагнитит тропизмом к событию этого цвета.

И неважно, что у меня больше нет в этом городе воплощенных воспоминаний. Быть может, только благодаря этой *tabula rasa* Токио в моей памяти превратится в одну эту пленительную зелень.

Я — как герой “Наоборот”, отдающий все силы охоте за совершенным цветом, чтобы туда погрузиться. У него это оранжевый. В восемнадцать лет, первый раз читая Гюисманса, я спрашивала себя, как можно настолько экстатически переживать цвет. Сейчас я больше не задаю вопросов, я живу цветом. Невероятнее всего, что любимый цвет у меня не зеленый, а цвет старого золота. Но сейчас я бы отдала все на свете, чтобы навеки оставаться в орбите этого изумительного оттенка.

Из оцепенения меня выводит Пеп:

— Я хочу сходить в гостиничные бани.

Сколько времени продолжалась моя идиллия с этим селадоном? Десять минут, два часа? Неизвестно. Но меня вырвали из созерцания, и я иду с подругой к метро.

— У меня не вышло отменить бронь в отеле, — говорит она, — так пусть пригодится, хоть в их традиционные бани буду ходить. Они, говорят, первоклассные.

Мы спускаемся на подземный этаж гостиницы. Тут надо показывать удостоверение личности, бани охраняют по всей строгости. Нам напоминают правила: нельзя вступать в ритуальную ванну, пока мы не отмоемся с головы до ног и тщательно не ополоснемся.

И дополнительный пункт правил, о котором я не знала: людям с татуировками вход в бани категорически запрещен. В мое время такого не было, видимо, потому что тату тогда были редкостью и встречались лишь в криминальной среде. Но сегодня тату есть у всех, кому меньше тридцати пяти, независимо от социального происхождения. Интересно, неужели молодежь из-за этого не ходит в традиционные бани? Ведь, насколько я вижу, никакой проверки нет: страна настолько законопослушна, что власти считают

достаточным просто сообщить о запрете.

Нам с Пеп, соответственно, под сорок и под пятьдесят. Нам не нужно лгать, татуировок у нас нет. Мы получаем полотенца и юкаты и входим в женскую баню.

— Раньше бани были смешанные, — говорю я.

В душевой никого. Мы встаем каждая у своей шайки и крана. Трем себя губкой и мылом, отчищаем все, что можно, потом долго споласкиваемся под душем.

Похоже, мы достигли беспримерной чистоты. Больше ничто не препятствует церемонии, мы вместе вступаем в одну из гигантских ванн.

— Тут кипяток! — вскрикивает Пеп.

Да, кипяток. Изначально традиционная баня задумана, чтобы пережить японскую зиму. Домов с отоплением было мало, и перед сном люди погружались в дымящуюся ванну, чтобы до следующего утра превратиться в человеческую грелку. Иначе ночной сон был недосягаем.

Но 28 мая, солнечным весенним днем, нет никакой необходимости заставлять себя сидеть в воде подобной температуры. Мне скорее нравится, но я понимаю, что оставаться здесь долго опасно. И рассказываю подруге, что часто падала в обморок в ритуальной ванне, вызывая

величайший переполох: другие купальщицы не осмеливались мне помочь.

— Как же тебе удалось не утонуть?

— Я всегда приходила в чувство, нахлебавшись воды. Но ощущение все равно жуткое. Я лучше выйду, пока не отключилась.

Я сажусь на пол, голова кружится.

— А в других ваннах так же или нет?

— Нет, там еще горячее.

Пеп немедленно опробует их и говорит:

— По-моему, я сейчас сварюсь.

— Я к тебе не пойду, даже не думай.

— Если придет кто-нибудь с татуировкой, я нажалуюсь.

— Зачем?

— Чтобы все ванны были только наши.

В помещение входит женщина. Мы разглядываем ее, пока она моется: никаких следов тату. Пеп решает, что хватит с нас экспериментов, и мы идем одеваться.

— Мне страшно понравилось, — говорит подруга.

— А меня сморило, — отвечаю я.

— Сейчас пойдем выпьем по стаканчику, и будешь как новенькая.

Она находит на смартфоне адрес какого-то

модного бара. Я, шатаясь, бреду за ней до какого-то подвала; здесь мой мутный вид вызывает подозрения.

— Ваша подруга уже пьяна, — заявляет очень смущенный распорядитель.

— Нет, — отвечает Пеп, — она просто не привыкла мыться.

У меня нет сил возражать, хочется куда-нибудь рухнуть. Пеп садится у стойки, но ее в ту же секунду гонят.

— Дождитесь, пока вас посадят, — бросают ей, словно попрошайке.

Подруга шепчет мне на ухо, что ей казалось, она в баре, а не в Букингемском дворце. И она совершенно права. Нет ничего неуютнее токийского бара. Я заверяю ее, что в Кансае все не так.

В конце концов нас усаживают на пару табуретов дальше. К нам идет бариста — столь же обаятельный, сколь гнусным был распорядитель. Пеп, радуясь, что ее вкусы так дотошно изучают, двадцать минут обсуждает с ним выпивку и выбирает фирменный коктейль. Моих умственных сил хватает ровно на то, чтобы спросить японский виски, чье название в ту же секунду испаряется у меня из головы.

Мы чокаемся. Пеп с нескрываемым удоволь-

ствием посасывает коктейль. Я залпом опрокидываю в себя виски. Давление нормализуется быстрее, чем я пишу эту фразу.

— Так-то лучше, — говорю я.

— Знаешь, что для меня загадка? Ты за неделю не выпила ни капли шампанского! Не соскучилась по нему?

Я потрясена: надо же, я про него даже не вспомнила.

— Закажем? — предлагает Пеп.

— Мне вообще не хочется!

Надо полагать, я адаптировалась к окружению, если забыла про свою зависимость. Моя любовь к шампанскому — фактор отчасти социально-психологический. Я родилась в среде, где оно было естественной принадлежностью отца. Пить шампанское значит не только получать удовольствие или отмечать какое-то событие, это значит приобщаться к ценностям высшей дипломатии. Я слишком часто видела, как отец принимает, словно дорогих друзей, тех, кого он ругал на чем свет стоит. И конечно, во многом у него это получалось так изящно благодаря высокому фужеру, с которым он не расставался.

Я пытаюсь заговорить подруге зубы:

— Самые большие потребители шампанского

в мире, само собой, французы. А знаешь, у кого второе место?

— Раз ты спрашиваешь, значит, у бельгийцев.

— Ага. Восхитительно, правда? Народ, который пьет столько пива, — второй в мире потребитель шампанского!

— Это твоя заслуга.

— Не забывай про моего отца!

— Точно. Большой был любитель выпить!

— А что он пил, кроме шампанского?

— Виски?

Я поднимаю стакан в знак согласия. Бариста решает, что я хочу добавки. Пеп жестом, известным во всем мире, дает понять, что просит повторить.

— Значит, ты здесь пьешь исключительно виски в честь отца?

— Не только. Японцы не производят шампанское, по крайней мере пока. А вот виски у них получается все лучше и лучше.

— А почему ты не пьешь саке?

— Саке я люблю только в горах, на закате, перед портиком синтоистского храма, под звон колокола.

— Сколько ты мне дашь за то, чтобы я никому не сказала, что ты целую неделю не притрагива-

лась к своему волшебному зелью?

— Ну и ну, я такую репутацию себе сколотила, а ты ее порушишь своими сплетнями!

— Мы можем договориться. Заплати за выпивон.

— Само собой.

Языки у нас начинают заплетаться. Подруга пробует все коктейли, какие советует бариста. Я приканчиваю бутылку виски с испарившимся названием. В какой-то момент я вдруг вспоминаю, что Алиса гасит свет около полуночи, а нам еще ехать в ее дальний пригород. Останься у меня хоть капля рассудка, я бы погрузила нас в такси, но ноги несут меня в метро.

Я видела немало вдрызг пьяных токийцев в общественном транспорте. Им всегда удается держаться более или менее прилично. К счастью, мы с Пеп не дошли до точки невозврата. И свершается чудо: я отвожу ее, куда нужно. Автопилот во мне запомнил привычный маршрут, как у настоящей японки.

Мы спешим, Пеп в окружающей тьме уплетает на ходу клубнику, купленную в каком-то ларьке.

— Красное и черное, — изрекает она, доказывая, что и в подпитии можно цитировать классиков.

Расставшись с ней, я с упоением думаю, как

вернусь к “Наоборот”. Моя пьянограмма в полном порядке, я знаю, что нахожусь в идеальном состоянии, чтобы читать Гюисманса.

На эпизоде, где Дэз Эссент готовится к поездке в Лондон, я корчусь от радостного хохота. Не будь Пеп, мои собственные странствия остались бы такими же, как у героя-декадента. Я подскакиваю на кровати: где я? Я что, действительно жила в этом городе? Я смотрю в окно на здания, там тоже почти не спят. Говорю себе, что надо поспать, непонятно зачем. “Затем, что в четыре утра ты якобы встанешь и будешь писать”, — отвечает сверх-я. Господи, ведь и правда, что на меня нашло, зачем я выбрала этот путь? Я пытаюсь восстановить его с самого начала, понять, как очутилась в этой точке, но мне вспоминается только раннее детство. В том-то и проблема: я по-прежнему заперта в четырехлетнем возрасте, у этого есть и свои преимущества, и свои неудобства.

Я засыпаю в какой-то невозможной позе, не выключив свет. Просыпаюсь ровно в четыре утра. Тридцатипятилетнюю привычку так просто не вытравишь. Обжигающий чай — и писать. Я смотрю на себя со стороны, и все-таки это я.

— Я из-за тебя напилась, — горячится назавтра

Пеп, — у меня голова чугунная!

Кто бы мог подумать. Алиса предлагает сходить на одно очень особенное кладбище. Какой-то некрополь, название которого не держится в моем непросохшем мозгу. Сюда относят погребальные урны мертворожденных и умерших в утробе детей или младенцев, не доживших до двухлетнего возраста. На каждом захоронении лежит маленькая статуя ребенка: словно спящие мини-будды, завернутые в каменные кимоно. В любой другой стране в таком месте полагалось бы плакать. Здесь как будто ощущаешь благодать. Несомненно, безутешные родители любили маленького покойника, но понимаешь, что это стадия принятия. Сердце у людей разбито, горе пронзило их насквозь, они всегда будут помнить, но в конечном счете самое главное — великий покой.

У статуэток младенцев на лицах улыбка. Никакой горечи, они довольны своей участью и хотят нам передать, что тяжело только нам. Для нас с Пеп, еще пребывающих в алкогольном тумане, это вполне очевидно. Алиса пылко объясняет:

— Я не знаю другого кладбища, от которого бы исходило столько нежности.

Она права. Начинает накрапывать дождь, и

впечатление многократно усиливается. Некрополь говорит со мной — со мной, застрявшей в последнюю неделю на стадии зеркала[59]. “В последнюю неделю? Да ладно, так было всегда”, — сардонически скрипит во мне неотвязный голос. Может, я тоже такой умерший младенец? Нет, я живая и с виду независимая, как взрослая.

У одной из гробниц стоит молодая женщина. Судя по виду, ей не требуется особого стоицизма, чтобы находиться рядом (как я догадываюсь) со своим покойным ребенком. Она просто пришла его навестить.

Дождь поливает вовсю, Алиса ведет нас обедать. Нет ничего лучше миски лапши с бульоном, чтобы согреться и прийти в себя.

— Мне гораздо лучше, — заявляет Пеп так, будто воскресла.

За десертом мы идем к одному художнику-кондитеру, на первый этаж гигантского торгового центра. На глазах у ценителей кондитер, в окружении молодых помощников, придающих рисовому тесту умопомрачительно нежные оттенки, лепит разной формы лепестки и составляет из них хризантемы, болгарские розы, гортензии и

---

[59] Примечания: 59

Стадия зеркала — согласно концепции Ж. Лакана, этап становления человеческого существа между 6 и 18 месяцами.

ирисы. Мне кажется, что с ирисами он не справится — ничего подобного: художник мастерски придает синим лепесткам копьевидную форму ириса. Пальцы его едва касаются теста, он работает палочками, беспрерывно меняя их, как и латексные перчатки, новые для каждого цветка.

Мы по меньшей мере час сидим у его стенда, разинув рот. Наконец Алиса говорит, что надо что-нибудь заказать.

— Эти цветы едят? — восклицает Пеп.

Я понимаю ее изумление. В голове не укладывается, что можно жевать такое великолепие.

— Они очень вкусные, — уверяет Алиса.

Дама в кимоно принимает у нас заказ и советует:

— Если вам угодно взять ирис, досточтимая гостья, советую запивать его нашим матча “Сэй-Сёнагон”.

Мне несут ирис на престоле — квадратной тарелке. Дама сбивает церемониальный чай и предлагает попробовать. Это всего лишь рисовое тесто, но у него тот неописуемый вкус, за который я отдала бы все пирожные на свете: за неимением лучшего, я называю его поэтичной японской безвкусицей. Понимаю, звучит уничижительно. Но я не знаю более подходящего слова, чтобы

передать этот почти не выраженный, едва заметный вкус, не имеющий ничего общего с яркими вкусами западной выпечки. Например, этим съедобным рисом невозможно объесться. Его поедание требует вдумчивости и собранности.

В японской косметике есть только один вид пудры — рисовая, и используют ее везде, где только можно. Немножко такой пудры полагалось носить в сумке самураю, чтобы кожа у него всегда была матовой: если ему нанесут смертельный удар, никто не сможет сказать, что труп плохо выглядит. Одной-единственной гейше каждый день требовалась целая пудреница, чтобы привести себя в порядок. Может, как раз из-за такого соседства моему пирожному передается привкус японского макияжа?

Я отпиваю глоток матча “Сэй-Сёнагон”: это истинный император церемониальных чаев. Привычный морской вкус настолько утончен, что отдает водорослями. Мне чудится, что я пью Японское море. Со вкусом ириса он сочетается идеально.

Меня настолько поглощают гастрономические впечатления, что я забываю про подруг. И вдруг замечаю, что Алиса сидит перед своей болгарской розой и молится, как дзэнская монашка, а Пеп

фотографирует свою гортензию, чтобы выложить в соцсети.

— Одна я ем, — говорю я.

Алиса выходит из медитации и пробует цветок предусмотренной для этих целей крошечной бамбуковой ложечкой. Пеп хватает пирожное руками и глотает за пару приемов, не замечая, в какую оторопь повергает дам в кимоно.

— Можно попросить еще одно? — спрашиваю я.

Тут уже на меня смотрят как на очередного варвара. “Вам дано было приобщиться к чуду великолепия и цивилизации, а вы, вместо того чтобы сохранить в себе это ощущение и долго его лелеять, требуете еще?” Я опускаю голову, мне стыдно.

Алиса, прикинувшись, будто забыла свое обещание выгуливать двух жительниц Галлии, под каким-то предлогом исчезает. Пеп намерена сходить в “Кроличье кафе” на другом конце города.

— Ты уверена, что это хорошая мысль?

— А как же, — отвечает Пеп. — Тебе самой разве не хочется взглянуть на кроликов в Токио?

Подруга моя, как я уже говорила, питает безумную любовь ко всему заячьему семейству. Спорить бессмысленно. После долгой и страшно

запутанной поездки на метро мы оказываемся в городских трущобах. В конце какой-то улочки поднимаемся на третий этаж обшарпанного здания: здесь находится злосчастное “Кроличье кафе”, похожее на ветлечебницу. Храбрые девушки в герметичных комбинезонах и в шапках-шарлотках выхаживают кроликов с мордочками рецидивистов. Я вхожу, в кафе ужасно воняет.

— Кроликами пахнет! — заходится Пеп.

Мне остается только смириться с тухлым запахом, в котором целыми днями приходится работать хозяйкам. Кролики скачут под ногами, нас приглашают сесть, чтобы случайно не поранить зверьков. Мы заказываем какое-то питье и получаем право ими любоваться.

Но не трогать их — к великой досаде Пеп: она жаждет заключить их в объятия.

— Неужто тебе и вправду хочется целоваться с такими вонючими кроликами? — спрашиваю я.

— Это их испражнения воняют, а не они! — возмущается подруга.

Неважно, мы утопаем в этой вони, я не могу даже пить фруктовый сок, который мне принесли.

Пеп вступает в переговоры со служительницами, я перевожу ее доводы:

— У меня дома, в Париже, живет кролик. Я очень

по нему скучаю.

— Мы вас понимаем, досточтимая гостья.

— Нельзя ли мне взять на руки одного из ваших кроликов? Я не причиню ему никакого вреда, я умею с ними обращаться. Для меня это было бы утешением.

— Наши кролики очень слабые, мы боимся инфекции.

Как ни странно, Пеп уступает. Мне хочется спросить, какую инфекцию рискуют подцепить кролики у нас на руках.

Подруга рассматривает их одного за другим и с придыханием описывает:

— Смотри, вон тот слабенький, в чем душа держится.

— По-моему, они все похожи на бандитов, — говорю я.

— Ты права. Кролики такие, всегда готовы разнести все вокруг. Я их еще и поэтому обожаю.

— Тогда почему ты говоришь, что вон тот слабый?

— Ну это же правда. Эти кролики, они из самых низов. Как они могут не быть бандитами!

Честное слово, Пеп неисправима. Ее снисходительность к зайцеобразным не знает границ. В глубине души я понимаю, почему Алиса не

захотела ехать с нами в это место, воняющее крольчатником.

Подруга с моей помощью снова заводит разговор с девушками:

— Почему вы не отсылаете своих питомцев на Кроличий остров?

— У наших досточтимых подопечных трудные судьбы. Токийские дети покупали их, а потом выбрасывали. И если бы они попадали прямо к нам! Мы спасали их по одному, они все были бездомными. У них не хватит сил и здоровья жить на этом острове, дикие кролики их оттуда выживут. И потом, привозить животных на Кроличий остров запрещено!

Кроличий остров, где я ни разу не была, — это островная территория, целиком отданная во владение зайцеобразным; людям дозволено приезжать туда на несколько часов при условии, что они будут соблюдать единственное правило: не кормить кроликов ничем, кроме еды, купленной на месте; покупка дает право их фотографировать. Для Пеп Кроличий остров — такая же святыня, как Байройтский фестиваль для оперного фаната. Не знаю, каким чудом паломничество туда не попало в программу нашей поездки.

— Он где, этот остров?

— Возле Хиросимы, — отвечает Пеп.

Вот оно что. Слава богу, наш вояж короткий; будь у нас время съездить в Хиросиму, Пеп непременно затащила бы меня на Кроличий остров. Самое для меня невыносимое — это копошение вокруг. В “Кроличьем кафе” на тридцать квадратных метров площади приходится примерно четыре десятка Жанно[60]. Из-за этого численного превосходства мне кажется, что я вот-вот превращусь в морковку.

Но подруга моя на седьмом небе, и я перевожу ее бесконечные вопросы к служительницам. Последний раз я столько работала переводчиком в импорте-экспорте, из этого вырос мой “Страх и трепет”. Но теперь меня травят не начальники, а кролики. Один из этих прелестных зверьков уселся мне на ногу и выкладывает какашку.

— Ты ему понравилась! — ликует Пеп.

Любовь полна загадок. Мне хочется стряхнуть с ноги нового поклонника, но я догадываюсь, что тем самым оскорблю его и Пеп мне этого не простит.

Одна из девушек говорит мне, что отведен-

---

[60] Примечания: 60

Кролик *Жанно* — персонаж английской сказки Беатрис Поттер (1866–1943), кузен ее знаменитого кролика Питера и герой французской детской песенки; в оригинальной версии его зовут Бенджамин Банни.

ное время истекло и, если мы хотим посидеть подольше, нужно заказать что-нибудь еще. Я мухлюю — перевожу подруге только первую часть фразы. Мы расплачиваемся, я надеваю туфли, предварительно выбросив носок, принявший дар любви.

На улице я с упоением глотаю чистый, без миазмов, кислород. Пеп восторженно комментирует наш поход, я поддакиваю каждому ее слову. И спрашиваю, не хочет ли она сходить со мной в гостиничные традиционные бани. Она соглашается.

Какое счастье отмыться с ног до головы и очиститься в кипятке!

Это наш последний вечер в Токио. Я способна разве что заранее изливать свою ностальгию, хоть Пеп мне и запретила, и предоставляю ей решать, что мы будем делать дальше.

Мы бредем по ночным улицам, которые я даже не пытаюсь запомнить. Подруга замечает бар, где подают “Гиннесс”.

— По “Гиннессу” в Токио, как тебе мысль?

— Стоит ли, после вчерашнего запоя?

— “Гиннесс” — это не алкоголь, — безапелляционно заявляет Пеп.

Принято. Мы усаживаемся за стойку. Это не

ирландский паб, заведение скромное, посетителей почти нет. Берем две пинты “Гиннесса”, нам подают их по всем правилам искусства. Я очень ценю в японцах эту черту: если японец что-то вам предлагает, значит, он в этом разбирается. Бармен — спец по крепкому портеру и счастлив, что ему наконец есть кого обслужить.

— Здешним это не очень нравится, — говорит он.

Пеп велит мне перевести, что “Гиннесс” — ее религия и она меня к ней приобщила. Точно, это она двадцать лет назад научила меня пить это чудо. Теперь бармен обращается к ней как к божеству. Предлагает нам по второй пинте, мне приходится его останавливать.

— Почему? — негодует Пеп.

— Вспомни, в каком состоянии ты проснулась сегодня утром.

У нее воспоминание это явно успело испариться.

— Почему ты такая грустная? — спрашивает она.

— Потому что мы завтра уезжаем.

— Ну и что? Тебе разве не хочется домой?

— Уезжать из Японии для меня всегда испытание.

— Кончай ты с этим. Ты в любом случае не готова здесь жить.

Она говорит правду. Я пыталась здесь жить, я на это не способна. Притом что любовь моя к этой стране бездонна. Япония — первая моя любовная неудача, и каждый раз, возвращаясь сюда, я заново переживаю влюбленность и заново сознаю, что у меня не получается.

У меня не получается. Эту фразу я твержу себе раз по пятьдесят на дню, и не только на японской земле. Но все равно — именно Страна восходящего солнца научила меня ужасному чувству: у меня не получается. Что не получается? Все. И ничего. Жить в Японии. Вообще жить.

Я морщу лоб. Нет, эту свою неспособность я обнаружила не в Японии, а именно в Токио. Столица выявила во мне это увечье, настолько серьезное, что у него даже нет имени. В детстве, в Кансае, у меня получалось и получается до сих пор. Это в Токио я как слетела с катушек, так и слетаю. Токийское ощущение амнезии — это, наоборот, какая-то форма гипермнезии: здесь я вновь обретаю в целости и сохранности безжалостную уверенность в собственном ничтожестве.

В пятнадцать лет я, как и полагается девочке-подростку, поссорилась с отцом. Он положил

конец препирательствам одной фразой:

— Ты такая же, как я: ты ничто.

От возмущения я потеряла дар речи. Что он хотел сказать? Это он ничто? Это я ничто, как и он? Я так и не поняла эти нелепые, обидные слова.

Если бы отец сказал их по-японски, на нашем с ним общем языке, я могла бы уловить в них что-то прекрасное, внушающее надежду — высшее свершение японского небытия. Но тон перепалки не оставлял сомнений: он хотел меня умалить, принизить и, как ни удивительно, принизить себя самого.

То есть этот герой, спасший больше тысячи человеческих жизней, ловкий дипломат, знаток песнопений Но, ошеломительно образованный человек, считал себя нулем без палочки и ставил ту же оценку и мне. Откуда такое самоуничижение?

Истоков его я не знаю, зато знаю, что мне оно передалось. Ничего особо плохого в этом нет: худшая опасность, угрожающая писателю, — самодовольство. Но я бы все равно предпочла здоровое смирение тому головокружительному ничтожеству, на которое вечно наталкиваюсь и которое поселилось во мне главным образом из-за Токио.

Токио и отец. Отец всегда утверждал, что цель его жизни — стать послом в Токио. Он ее достиг и занимал этот пост на протяжении девяти лет: поразительно долгий срок объяснялся истинным, беспримерным призванием. Отсюда один шаг до отождествления Токио с отцом.

К тому же, не будь этого токийского провала, мне бы не пришло в голову печататься. Бывают и плодотворные унижения. Но двойственность от этого никуда не исчезает: я всем обязана городу, который ткнул меня носом в мою глубокую некомпетентность[61].

Пока я верчу в голове все эти поучительные мысли, мы с Пеп выходим из бара и бредем от витрины к витрине. Подруга меряет десятка два кимоно и наконец выбирает то, что ей подходит. Я на автопилоте высказываю свое мнение.

Пеп в восторге от своей покупки и так и остается в кимоно.

— Почему ты так одеваешься? — спрашивает она.

Я смотрю на себя: выясняется, что всю поездку я проходила в широкой черной рубашке, черной юбке-трапеции и тяжелых башмаках.

---

[61] Примечания: 61
См. роман Амели Нотомб “Страх и трепет” (1999).

— Хочу выглядеть как Банана Ёсимото, — отвечаю я.

— Это кто?

— Знаменитая японская писательница.

— Ты на нее похожа?

— Нет. Но она мне очень нравится.

Мы ужинаем лапшой соба, и я провожаю Пеп в Нэриму. Возвращаюсь в гостиницу, радуясь, что в последний вечер в Токио не случилось еще какой-нибудь церемонии.

В номере я дочитываю “Наоборот”. Мне важно закончить чтение в Токио. Это тоже один из пунктов моего паломничества, хоть я и не могу объяснить почему.

Последняя ночь. Я стараюсь ни о чем не думать, мне больно. Сосредоточиваюсь на лежачем положении. Следующую ночь я проведу в самолете, мне будет недоступна такая роскошь, как вытянуться во весь рост. Что угодно, лишь бы не оставалось места отчаянию, ощущению провала и предательства: я опять покидаю Японию. И теперь уже не могу винить в этом родителей или роковые обстоятельства. Я уезжаю как взрослый, ответственный человек, это мой выбор — не оставаться здесь. Как мне примирить такое поведение с беспредельной любовью, связывающей

меня с этой страной?

Опоследнем дне мне хочется рассказать во всех подробностях, он оставил четкое, приятное воспоминание. И в то же время мне стыдно, что в этот день я, уже заранее в трауре, вела себя так культурно. Алиса ведет нас в чудесный парк, название которого я отказываюсь вспоминать; она подготовила изысканный пикник. Нет другой такой внимательной подруги, как Алиса: она дарит нам подарки — нам, ввалившимся к ней без спросу и завладевшим ею на целую вечность. Судьба к нам благосклонна, погода прекраснее некуда, яркое солнце еще не приносит летнего жара. День 30 мая идеален, он не сможет внушить нам желание уехать.

После обеда мы все втроем валяемся в Безымянном парке, трава здесь нежная и ласковая. Как хорошо мы друг друга понимаем! Часы текут словно во сне. Алиса заражает нас своей глубокой гармонией. Пеп уверяет, что путешествие преобразило ее:

— В Париже я никогда не буду прежней.

Я делаю вид, что верю. Мои возвращения с незапамятных времен на сто процентов не оправдывают ожиданий, так что я воздерживаюсь от любых прогнозов.

Нам пора, мы идем в гостиницу за вещами. Я совсем не умею расставаться, стараюсь ускорить этот момент, просто чтобы заполнить его пустоту. Алиса вручает каждой из нас по письму.

— Вскроете, только когда сядете в самолет! — настоятельно просит она.

Оказывается, я плачу; Пеп подтрунивает надо мной и, насмехаясь, плачет сама. Мы обе смешны в своей сентиментальности. Я залезаю в такси, оно трогается, и Алиса смотрит нам вслед, пока мы не исчезаем из виду.

Пока мы блуждаем в своих эмоциях, водитель сообщает, что у нас спустило колесо.

— Мы на самолет не успеем! — говорит Пеп.

Я успокаиваю ее, у нас довольно много времени в запасе. Шофер рассыпается в извинениях. Я замечаю подруге, что спущенное колесо вовсе не означает, что мы испустим дух в Японии, но она еще больше расстраивается и нервничает. Лучшее доказательство, что ее парижская натура воскресает с бешеной скоростью.

Водитель снова надевает белые перчатки, мы потеряли от силы десять минут. Нынешний аэропорт Ханэда не имеет ничего общего со скромной постройкой, которую я видела тридцать лет назад. Он превратился в гигантский торговый

центр, замаскированный под музей древней Японии. Мы с Пеп исследуем его по всем направлениям, изумляясь, что можно такое соорудить. Тратим последние иены на какие-то невероятные безделушки, крошечные зонтики в виде кроликов, кокетливых кукол в костюме техно-гейши, носовые платки, слишком странные, чтобы служить по назначению, несъедобные пирожные в виде Золотого павильона.

— Это в подарок, — оправдывается подруга.

Мы обе знаем, что никому все это не отдадим, нам будет немножко стыдно, к тому же нас слишком завораживают эти пустяки, то, что в Бельгии называется “не пойми что”, такого не пойми чего не найти нигде в мире, мы испускаем якобы преувеличенные радостные вопли, скрывая самое настоящее восхищение. Теперь наши жилища навсегда будут завалены коварными вещичками, чья притягательная сила иссякнет под слоями пыли, мы станем проклинать себя за то, что поддались зову этих сирен, — но сейчас мы полностью во власти их чар, мы буквально зачарованы.

Когда из наших карманов вымывает последние монеты, а чемоданы наполняются тяжестью тысячи чепуховин, мы ужинаем миской рамэна

и идем к выходу на посадку на самолет в Париж. Вылет через два часа. Вокруг нас говорят по-французски, и нам неуютно. Как всегда, приходится выслушивать безнадежные речи про то, “что не так с этой страной”.

— Вот что не так с нашей собственной, — проницательно замечает Пеп.

Мы садимся немного поодаль, подальше от этой байды. Чтобы чем-то занять Пеп, я протягиваю ей “Наоборот”. Лучшее из развлечений: смотреть, как подруга открывает для себя Гюисманса.

В полночь мы загружаемся в самолет и взлетаем. Я скрываю неизбежное чувство провала: я в энный раз покидаю Японию. Разлуку с ней нельзя приписать никакой внешней силе, мне уже не пять лет. Я оставляю ее по доброй воле. Взрослость — сплошной обман. Я перебираю в памяти свое долгое детство, нескончаемое отрочество: тогда я непрерывно жаждала вновь обрести эту страну-Грааль. И если бы мне тогда сказали, что однажды я добровольно сяду в самолет, готовый вот-вот оторваться от священной земли, я бы отнеслась к самой себе с недоверием и презрением.

От этой внутренней катастрофы меня спасает сиюминутное: надо утешать Пеп, она тоже столк-

нулась с тем, как грустно покидать Японию. Ее печаль не похожа на мою, но я все равно пытаюсь ей помочь. Наконец она успокаивается и пытается погрузиться в какое-то подобие сна.

Есть искусство, которое мне неподвластно, — искусство возвращаться. Хотя опыта мне не занимать. Значит, он ничему не учит: мои возвращения неизменно терпят крах. Мы преисполнены воодушевления, уверены, что неслыханные открытия, сделанные в поездке, изменят нашу жизнь, а может, даже жизнь наших близких. Нас распирает, мы надеемся, что превращение заметно всем. Нам до слез обидно опять вписываться в свое жилище, мы немедленно обезображиваем его всей той жутью, какой набили чемодан. А потом начинаются будни. Блаженство достигает высшей точки, мы убеждены, что лучше нас никто не сыграет избитую мелодию возвращений, мы же так поднаторели в ней, каждый ритуал достиг головокружительной глубины… вплоть до той минуты, когда слышим вопрос:

— Вы ездили в Японию, да?

Блажен, кто странствовал подобно Одис-

сею…[62] Мы начинаем рассказывать, совсем не так вдохновенно, как нам казалось, и через полсекунды замечаем, что одиссея наша никому не интересна, что спрашивали нас из вежливости, все будут спрашивать одно и то же, и все сошлются на срочное дело, прервав рассказ, но все равно боже упаси не ответить, сказать, к примеру, что мы еще под впечатлением и предпочли бы ответить попозже, вас сочтут эгоистичной и неприятной, вам обязательно надо попытаться рассказать — и дать слушателям повод назвать вас до смерти скучной.

Это похоже на анекдот, но в точности то же самое мы немедленно испытаем сами. Мы вспоминаем великолепное путешествие — и тут же сознаем, что оно кануло в нашу внутреннюю пропасть, поверхность ее океана уже снова разгладилась, на ней нет ни единого барашка, ее колышут лишь привычные помехи, по ночам мы вызываем в памяти приоткрывшиеся нам чудеса и спрашиваем себя, отчего их свет почти не падает на нас.

— Нужно впустить в себя эти новые богатства, — заявляют современные эксперты.

---

[62] Примечания: 62

Первая строка знаменитого сонета Жоашена Дю Белле. Перевод В. Левика.

И предлагают для этих целей целый набор техник: одиночество, рефлексию, молчание. Все эти убежища я перепробовала по многу раз. У меня не получается. Наверное, именно это бессилие так быстро вылилось во мне в неизлечимую ностальгию. Ностальгия — это проявление неудачи, потери. По крайней мере, ее чувствуешь с такой силой, что она впечатывается в твои кости.

И потому каждое путешествие делает меня беднее. От него остается не столько красота, сколько та пустота, какую она вытравила. Мой дар — ощущение нехватки. Моя способность к неутоленности не знает границ.

Мы приземляемся. Я сажаю Пеп в такси, пусть едет забирать своего кролика. Сама я хочу вернуться на *RER*, мне кажется, так я лучше восстановлю связь с реальностью. Разительный контраст с японским пригородным метро, на котором я постоянно ездила в Нэриму. В чем главное отличие? Трудно сказать. Грязь, гнусь, но не только. Здесь неприятно. Вот остановка Онэ-су-Буа, Ольховый подлесок: такое красивое имя, а чему досталось? Едем через Дранси — и почти заболеваешь. От японских пригородов не возникает желания повеситься.

Пеп вернулась от зооняни и звонит мне:

— Странно здесь, правда? У меня такое ощущение, что на улицах одни хамы.

Сильно сказано, но я ее понимаю.

Жизнь продолжается. Привычная катастрофа: скажешь пару слов про поездку, и всем наплевать. Зато все спрашивают, повидались ли вы с нянюшкой, и возмущены ответом. Бесполезно пытаться объяснить, что свидания, за которыми неизбежно последует очередная разлука, вас бы сломали, и что нет, няня, как ни странно, не хочет уезжать из Японии и переселяться к вам: на вас смотрят как на скотину.

Некоторые еще выспрашивают, куда вы посоветуете сходить в Токио или в Киото. Я забываю названия, это мое фирменное, и сказать мне нечего. Меня обвиняют в эгоизме, в том, что я не хочу поделиться своими тайными местечками. Да хоть бы и так, такое ли это великое преступление?

Спасает только работа, в которую я ныряю с головой. Закапываюсь в запоздалые ответы на письма и в интервью. Июнь начинается с места в карьер, сразу по возвращении я участвую в пресс-конференции, теперь надо говорить про “Психопомп”. Название книги приходится очень кстати, я возвращаюсь из иного мира, такого далекого, неисчерпаемого, мучительного, что

при одном его упоминании я цепенею. Есть множество способов умереть при жизни, и из этой смерти тоже важно вернуться.

Я выходец с того света. Так называют привидений и зомби. Я уезжала всего на одиннадцать дней, но в такое место, что снова чувствую себя иностранкой. Я интранзитивная иностранка, та, что не говорит, откуда возвращается.

Пеп тем временем обнаружила, что у всех есть какая-то теория насчет Японии, особенно у тех, кто там никогда не бывал. Я очень веселюсь, и она ужасно сердится.

— Ровно поэтому я о своей поездке не рассказываю, — говорю я ей.

— Как можно не рассказывать о таком путешествии? — вскидывается она.

В том-то и вопрос.

Я предлагаю ей выложить фото. Подруга пожимает плечами. Я настаиваю.

— Это не для меня, — наконец заявляет она с таким видом, словно речь о какой-то подлости. — Мне больше нравится показывать фото стран, где я еще не была.

Тогда ли у меня впервые зародилась эта мысль? Наверное. Я уезжала и вернулась. Эка невидаль! Да, но я только этим и занимаюсь всю жизнь. Я не

выбирала даже место, где я живу. А выбрала бы то единственное место, откуда уехала. И сейчас снова покинула его. Что это за извращение такое? Сама не понимаю, потому и пишу.

Вечное возвращение. Когда я подростком встретила эту формулу, не зная, какой смысл в нее вкладывал Ницше, она меня покорила. Значит, так положено судьбой, так предписано — возвращаться в изначальное, идеальное место. Уж если целый немецкий философ так говорит, значит, у меня непременно получится.

А потом я узнала, что речь о вечном возвращении одного и того же и это не имеет никакого отношения к географии. Ницше уточнял, что нет другой такой мысли, которой так важно радоваться, и я не видела, в чем здесь проблема.

С тех пор прошло сорок лет, теперь я понимаю, почему это так тяжело. В масштабе моей жизни вечное возвращение одного и того же заключается в том, чтобы ехать в Японию и вдруг сознавать, что это возвращение невозможно, что даже самая абсолютная любовь не дает к нему ключа.

Принять его — да, на это я способна. Но Ницше твердит, что надо этому радоваться, иначе нельзя жить полной жизнью. Вот это и есть слабое место: радоваться у меня не выходит. Я понимаю,

насколько значимо для меня понятие вечного возвращения. Но радоваться ему? Радоваться тому, на чем держится моя меланхолия? Разве нет неодолимого, как стена, различия между “принять” и “радоваться”? Наверное, я и впрямь никогда не буду жить полной жизнью. И Ницше, там, где он сейчас, отвратит от меня взор.

Чем дальше, тем больше мне кажется, что нас таких много. По-моему, нам суждено все больше заполнять собой мир — нам, кто по какой-то причине утратил любимое место и, пытаясь вернуться, обнаружил, что возвращение невозможно.